

Р2
Б87

ИЛЪЯ
БРАЖНИИ

даша
СВЕТЛОВА

©

ИЛЛЯ БРАЖНИН

**Даша
Светлова**



1941

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ • ЛЕНИНГРАД



Солнце заглядывает в окно. Коврик света ложится на пол. Клубятся пылинки.

Я сижу у стола и пишу. Потом поднимаю голову и оглядываюсь... Все новое вокруг, новое, милое... Так вот это и есть его убежище... Здесь он и живет.

Странно как все, непривычно, щекотно... Платье шуршит, палец чернилами замарала, муха пролетела... Куда она? А этот вчерашний корреспондент — почему он так уверен был, что я буду писать? Славный он, по-моему, только очень встрепанный весь... А небо-то, небо какое ясное, — в Ленинграде редко такое и увидишь.

Люди спешат, бегут по улице и не взглянут друг на друга. А ведь каждый с собой целый мир несет. Пусть бы рассказал — очень бы интересно было... Может и прав корреспондент... Ух, какая стрекоза! И прямо на стол. Вот глупая! Улетай-ка, улетай подобру-поздорову. Улетела... Мысли как-то рассеялись, зыблются... И я точно лодка на зыби... Покачиваюсь, плыву, а куда пристану — еще не знаю...

Помню я себя очень рано, лет с шести, и вполне отчетливо. Повидимому, я была девчонкой непоседливой и егозливой, но в общем ничем особым не отличалась. Талантов за мной никаких не числилось, и никаких выдающихся событий до девяти лет в моей жизни не было.

На десятом году разразилась маленькая буря. Сейчас я не прочь, пожалуй, посмеяться над тогдашними своими волнениями, но в то время мне было не до смеха.

Мир ребенка гораздо просторней, глубже, сложнее, чем мы это себе пред-

ставляем. Сам ребенок, понятно, об этом не думает — у него нет еще такой объективности, что ли, по отношению к себе, а став взрослым и нажив эту объективность, он невозвратно теряет ощущение пережитого, и в воспоминаниях его сохраняется по большей части то, что позже подсказано матерью или какой-нибудь двоюродной теткой, его воспитывавшей.

Мне подсказывать, по счастью, было некому, и у меня свежи не только факты, но самые ощущения, самые чувства, которые тоже имеют свою память.

Ему было десять лет. Звали его Веня, и он учился в одном со мной классе. У него были темные кудри, и он казался мне красивей всех на свете. Я была русоволоса и ненавидела свои прямые космы. Мне хотелось, чтобы у меня были такие же волосы, как у него, — блестящие, темные, вьющиеся.

Я была очень к нему привязана, но старалась ни за что не показать этого. Когда мы выходили из школы, я всегда подстерегала его. Мы вместе шли домой, так как жили на одной улице. Я смея-

лась над ним и придумала ему обидное прозвище — Веник. Я подпрыгивала на одной ноге и высывала язык.

— Веник, веник! — кричала я. — Веник, подмети пол.

Мне было приятно идти с ним рядом, и я доводила его до слез.

Он был страшный чистюля. Его тетрадки всегда были аккуратно сложены и обернуты белой бумагой. Однажды во время перемены я пробралась в класс и раскидала все его тетрадки.

Я прокрадывалась в шинельную и прятала его галоши. Он искал их долго, и я не говорила, где они. Случилось как-то, что сторожиха только на другой день нашла их в печке.

В другой раз я тайком отпорола от его нового пальто все пуговицы. А вечером прочистила в снегу у его крыльца красивую ровную дорожку, посадила ее елочками и, пока работала, все думала, как он пойдет по этой красивой снежной дорожке.

Все это доставляло мне немало волнений, но в то же время в этом напряже-

нии чувств не было ничего болезненного. В общем, я всегда, и в то время тоже, оставалась девочкой хоть и непоседливой, но довольно доброй и услужливой. В злых моих выходках не было злой моей воли. Просто во мне проснулось что-то, что действовало помимо меня, и я не знала, как этому противиться.

Через год Веня ушел из нашей школы, уехал в другой город, и я как-то сразу забыла его.

Мы жили очень бедно. Отец работал наборщиком в типографии, и на семью в восемь душ заработка его нехватало. Мать прирабатывала, сколько могла, стиркой. До ребят руки не доходили. Росли мы вольно, как репей на пустыре. Мальчишки целыми днями пропадали на речке или носились по соседним дворам, а я и сестры толклись по большей части возле дома, возясь с куклами. Это были жалкие тряпичные матрешки, но нам они были дороги теми нежными заботами, которых требовали и которые делали нас маленькими матерями. Мы по десять раз

на дню кормили их, поили, переодевали, водили гулять, а вечером, сидя у их постелек, пели тоненькими голосами:

У кота-воркота
Была мачеха лиха.
Она била его,
Приговаривала:
„Не ходи ты, котик,
По чужим дворам.
Не качай ты, котик,
Чужих деточек.
Приди, котик, ночевать,
Мою Мусеньку качать“.

Мальчишки, конечно, презирали нас. Десятилетний Горька смотрел на нас так, как будто стоял на вершине египетской пирамиды, а мы копошились где-то там далеко внизу. Карманы его были набиты гайками, бабками, бляхами, винтиками, камнями. Он бегал по двору, размахивая гладко оструганной палкой и крича петушиным голоском. Весь он — вихрастый, юркий, задиристый — напоминал молодого петушка... А как презрительно умел он произносить: „дев-чон-ки“. При этом он оттопыривал верхнюю губу и очень ловко сплевывал сквозь зубы.

Мы делали постные лица и тоже пытались презирать. Но у нас явно ничего не выходило. Я завидовала буйной независимости брата и тайком пыталась подражать ему. Помню, как однажды я целое утро плевалась, пытаюсь научиться так же ловко сплевывать сквозь зубы, как Горька. Однако из этих упражнений ровно ничего не получилось. Я заплела все платье и решила, что девчонки действительно самые несчастные существа на свете.

Однажды Горька разорил наш кукольный дом. Он был, конечно, не очень-то шикарен, наш дом. Мы просто отгородили в углу двора местечко аршина два в поперечнике, приладили вместо крыши три широких доски на подпорках — и это был наш дом.

Он был чисто выметен. Вокруг, из воткнутых в землю прутиков, мы сделали палисад. Внутри, на кроватках, сделанных из коробок и лучин, спали наши куклы. Когда они просыпались, мы усаживали их вокруг плоской опиленной чурбашки — это был стол. У самого за-

бора стояла другая чурбашка — это была плита. Мы готовили на ней обед нашим детям.

И вот дом был разорен. С вечера он был оставлен нами в полном порядке, а утром мы нашли его разрушенным до основания. Крыша была опрокинута, чурбашки раскиданы, палисадник растоптан. Наши куклы валялись на земле между опрокинутыми кроватями, грязные, истерзанные, полураздетые. Одна из них лежала среди развалин совсем голенькая, с перебитой ножкой. Ее неподвижные глазки смотрели застыло в небо. Это было ужасно... Мы ревели — я и мои сестренки — и, плача, собирали раскиданные по двору вещи. Мальчишки сидели на заборе и улюлюкали. Горька — удалец и разоритель — был героем дня.

И вдруг произошла неожиданная сцена. Моя старшая сестренка Надя, всегда верховодившая среди девчонок, подбежала к забору и, с ревом ухватившись за Горькину ногу, изо всех сил дернула ее вниз. Горька, не ожидавший такого стремительного нападения, потерял равновесие

и кубарем свалился в призаборную крапиву. Тогда мы все, как по команде, набросились на него и принялись бить. Горька завопил. Мальчишки посыпались с забора, как воробьи, и кинулись на защиту вожака. Мы вцепились в них — и началось побоище.

До сих пор мальчишки никогда не дрались с нами. Они дергали нас за косы, давали на бегу подножки, иногда мимоходом отпускали легкого подзатыльника, но до настоящей драки с девочками они не снисходили. Мы же просто боялись мальчишек, и, когда они задирали нас, мы убегали и издали показывали им языки.

Но теперь было не то. Мы защищали наши очаги, и все страхи забылись. Драка была отчаянная. Мальчишки работали кулаками и норовили схватиться один-на-один. Мы царапались и кусались и наваливались на кого-нибудь одного целой кучей.

Помню, я все время держала в правой руке поднятую с земли куклу. Она мешала мне драться, но я не выпускала

ее, — она придавала мне силы. Меня могли убить, но заставить отступить меня было невозможно. Товарки мои были в таком же состоянии, и мы одержали верх. Мальчишки с позором отступили, и поле битвы осталось за нами.

Мы стояли у своего дома и кричали им вслед. Волосы наши были растрепаны, руки, ноги и лица горели от укусов крапивы и ссадин, но мы торжествовали.

Потом, немного успокоившись, мы принялись снова устраивать наш дом.

К вечеру все было на своем месте. Куклы сидели вокруг своей чурбашки и ужинали. И мы прислуживали им с особой нежностью.

Вечером того же дня, когда мы легли уже спать, меньшей мой братец Сашка подполз ко мне (все мы спали на полу, подстелив какое придется тряпье) и тихонько толкнул в спину. Я обернулась и спросила довольно недружелюбно:

— Ну, что тебе?

— Вот что, я не нарочно твой дом разорял, ей-богу, — зашептал Сашка, оза-

боченно почесывая переносицу, — это Горька все. А я только пнул разик чурку, и то не взаболь, а шутя.

Тусклый свет желтой лампадки нежно золотил Сашкины щеки. Сашка был ужасно хорошенький, и рожица у него была смущенная. В сущности говоря, я всегда его любила больше других своих братьев и сестер. Он снова принялся божитья, что не нарочно разорял мой дом. Я была тронута. Мы заснули обнявшись.

С тех пор Сашка часто играл с нами, и мальчишки прозвали его „девчонкиным пастухом“. Сашка мужественно сносил обиду и не переставал водиться с нами. Я думаю, что тогда и было положено начало нашей нерушимой дружбы с братом. И когда теперь изредка появляется в моей квартире штурман дальнего плавания Александр Степанович Светлов, он знает, что все, что я имею, — к его услугам. И пусть я едва достаю ему до плеча, для меня он все тот же маленький Сашка, требующий забот и попечений.

Я поправляю ему галстук и говорю озабоченно:

— Когда ты, наконец, купишь новую рубашку? Что только жена смотрит, не понимаю!

Мы жили на окраине вблизи железной дороги. Неподалеку от нашего дома был высокий деревянный мост, перекинутый для пешеходов над железнодорожным полотном. Он соединял две улицы, а между улицами под мостом бежали рельсы.

Я была страшная трусиха и через мост никогда не ходила. Если надо было иногда купить что-нибудь в одной из лавок Замостья, то я всеми правдами и неправдами отлынивала и хитрила, чтобы остаться дома, и посылали обычно Горьку.

Он отправлялся в путь, насвистывая и подбрасывая на ладони полученные для покупки медяки, и я со страхом видела потом на висячем горбатом мосту его маленькую фигурку. Мне казалось, что мост обязательно обрушится, вообще что-нибудь такое случится.

И вот однажды пришлось-таки и мне

ступить на этот мост. Не помню уж, почему так случилось, что именно меня послали, — кажется, никого из мальчишек не нашли, мамы не было дома, а отца я никак не смела послушаться.

Для того чтобы отвести от себя страх и оттянуть время, я стала собирать у моста пробки. Не знаю, зачем мы собирали тогда пробки — не то для игры, не то на пробковые пояса для купания. У самого моста была баня, и тут же стояли квасные ларьки. Из бани выходили люди с вениками подмышками и покупали квас, который почему-то назывался кислыми щами и был страшно шипучий и пенистый. В этот день торговля шла бойко, вокруг ларьков было довольно много пробок, и я, найдя на земле бумажный картуз, быстро набила его доверху пробками.

Понятно, что после этого мне захотелось похвастать у себя на дворе своей удачей. Я стала спешить домой, а так как прежде я должна была выполнить поручение, то мне захотелось поскорей от него отделаться.

Я торопилась, и даже страшный мост не мог теперь меня остановить (так ведь часто бывает с нами: от безделья страшно, а по делу — так и не страшно).

Но все-таки я немножко боялась итти на мост. Мне было бы не так боязно, если бы со мной кто-нибудь был, если б я была не одна.

Я оглянулась по сторонам и вдруг увидела Севку Медникова. Севка жил по соседству с нами и был старше меня года на два с половиной. Он был некрасив, носат, долговяз, но зато бесстрашен и удал. Его презрительно прищуренные глаза, вздернутый нос и лихой вихор на макушке посылали вызов всему миру. Он не боялся ничего на свете и один раз притащил к нам на двор голыми руками живую змею. Завистник Горька говорил, что это был всего-навсего уж, но для меня это было все равно. Я бы ни за какие блага и к ужу не притронулась.

Этого-то удалого Севку я увидела теперь у моста. Он шел, запустив руки в карманы и что-то насвистывая. Я радостно окликнула его и, подойдя, сейчас

же принялась к нему подлещиваться. Сперва я показала ему пробки, потом пятак, потом спросила:

— Ты не побоишься со мной через мост итти?

Севка презрительно сплюнул, тряхнул своим вихром и тотчас заявил, что перейдет, если угодно, по мосту не только на ногах, но на руках, и не только по самому мосту, но и по его перилам. Я знала, что он лихо врет, но все-таки с восторгом на него поглядела, и мы пошли.

На всякий случай я держалась поближе к Севке и, жмурясь, крепко сжимала в кулаке пятак, но в общем все как будто шло благополучно.

Когда мы добрались до середины моста, меня вдруг потянуло взглянуть вниз. Я широко открыла глаза и оглянулась.

Это было очень страшно. Далеко внизу блестели рельсы, и вокруг меня был такой бескрайный простор, какого я никогда не видела. У нас было тесное жилье, и в нем всегда было много людей. У нас был тесный двор, и в нем тоже было много мальчишек и девчонок. Я при-

выкла к маленьким пространствам, я привыкла ощущать людей очень близко, дышать их запахом, слышать их голоса, ощущать их в постоянной близости. Чувства воздуха, чувства пространства я не имела.

И вдруг я ощутила под собой огромное количество пустого воздуха, пустого пространства. И все, на что могло опереться мое тело, показалось мне висячим, непрочным, жалким. Мне показалось, что мост покачнулся подо мной (это просто я сама пошатнулась), я схватила Севку за руку, и у меня вырвалось помимо моей воли:

— Ух, как страшно!

Мне было в самом деле страшно, и я сейчас же зажмурилась, не выпуская из своих рук Севкиной руки.

Но Севка только презрительно приподнял плечо и сказал с полным равнодушием:

— Вот еще! Нисколько не страшно.

Тогда я раскрыла глаза и снова взглянула вниз, и, оттого ли, что это было во второй раз, или оттого, что моя рука

крепко держала руку Севки, мне в этот раз не было страшно. Однако вместо того, чтобы сказать: „Вот теперь мне не страшно“, я снова вскрикнула, и громче, чем нужно:

— Ух, как страшно!

Было ли это намеренное притворство или какое-то бессознательное кокетство — я не знаю. Сейчас все это очень далеко и неясно, а тогда я ни о чем подобном, понятно, не думала. Кроме того, в следующую минуту я в самом деле сильно перепугалась, так как под мостом промчался поезд.

Он подкрался незаметно сзади и вдруг протяжно свистнул. И тогда я во второй раз почувствовала, что теряю все земные опоры, повисаю в пространстве и само это пространство приходит в движение. Под ногами у меня поднялся вихрь; из-под моста вырвался рычащий паровоз; зеленой бурей замелькали вагоны; мост задрожал; из трубы паровоза вырвалось длинное белое облако. Оно взметнулось вверх, распушилось, ударило в лицо, окутало и меня, и Севку, и мост. Все

задвигалось в белом разорванном тумане, переплеты моста перемешались, и я поплыла куда-то, и вокруг меня были ветер, пар, кружение.

Все, что я могла сделать, — это припасть к Севке, закрыть глаза, спрятать лицо. Все это я сделала. Я клюнула Севку в плечо. Он покачнулся и, чтобы удержать равновесие, охватил меня обеими руками.

Поезд грохотал где-то далеко, дым рассеялся, мост не дрожал. А я все стояла, припав к Севке головой, закрытой его руками.

Не помню уж, долго ли это продолжалось, — верно, недолго, потому что я тут же спохватилась, что потеряла свой пятак и рассыпала все пробки. Пробки я быстро собрала, но пятак упал сквозь щели под мост. Он лежал внизу и мутно поблескивал на солнце. Я вспомнила отца, ожидающие меня побои и, кажется, захныкала.

Тогда Севка показал себя настоящим героем.

— Не хнычь, достану, — сказал он с гордым презрением и полез вниз.

Он полез под мост. Он спускался по переплетам балок. Он, возможно, подвергался действительной опасности ради меня, он лез за моим пятком. И тогда я почувствовала силу своей слабости, и во мне поднялась лукавая гордость.

Да вот, кстати, о вольном или невольном притворстве, хотя, нет — это, пожалуй, не то, о чем я говорила. Но все равно. Жил у нас во дворе парнишка один — Павлик. Сколько я помню, он был, в общем, правдивым мальчиком. Но иногда он начинал вдруг страшно и фантастически завираться, и, когда ему не верили, он плакал горькими слезами.

На первый взгляд все это могло показаться странным, но в конце концов дело объяснялось просто: у Павлика было необычайно развито воображение, и он не знал, что с ним делать. Оно выпирало из него. И он врал, потому что не знал, в каких формах оно может проявиться. Он божился, что был вожаком слонов в Индии. Я кричала: „Врешь, индюк“

(я была уверена, что жители Индии зовутся индюками). Но я видела, что мальчишки слушают его фантастические рассказы с блестящими глазами.

Я не понимала этого. Я видела, что индюк врет, — и только.

Я тоже врала, но как-то корыстно, хотя это была не практическая корысть, а просто желание выиграть в глазах окружающих. Я утверждала, что мать дала мне сегодня целую плитку шоколада, или, когда теряли что-нибудь, я говорила таинственно:

— А я знаю, где...

Мне хотелось казаться не такой, какой я была на самом деле, — вот почему я врала. И я всегда немножко презирала того, кому врала, особенно, если он верил. Павлик любил своих обманываемых слушателей. Я старалась убедить всех в том, что я действительно знаю, где находится потерянная вещь, или что мать кормит меня шоколадом, я хотела, чтобы мне завидовали, — Павлик хотел, чтобы слушатели почувствовали, как прекрасно быть вожаком слона.

Однажды отец напился пьян и прибил мать. Я помню — это было в воскресенье. Мы уже легли спать. Отца не было. Мать бегала весь вечер к воротам посмотреть, не идет ли отец, — мы тоже. В конце концов мы так и легли, не дождавись его. Я заснула сразу, как только донесла голову до подушки, и не знаю, когда вернулся отец и с чего началась его ссора с матерью. Когда я проснулась, в доме уже стоял дым коромыслом. Отец, держа в горсти волосы матери, судорожно дергал их, бил мать по лицу и кричал: — Кто х-хозяин в дом-ме? А? Кто х-хозяин в дом-ме?

Потом, все продолжая бить, он повалил мать на пол. Он не помнил себя, и лицо у него было такое страшное, синее, что я закричала. Впрочем, я не одна кричала, — мы все проснулись и кричали в шесть голосов.

Мать тоже кричала, верней не кричала, а голосила каким-то неестественно тонким, напряженным, будто нарочным голосом. Она извивалась на полу и голосила. Почему она не защищалась? Она была

красивая, сильная, крупная женщина. Она была, верно, сильнее низкорослого и щуплого отца и, думаю, могла с ним легко справиться. Но она не защищалась и только, когда ее достаточно побили, выбежала во двор.

Мы всей оравой высыпали за ней. Она стояла в одной рубашке у косяка наружной двери и всхлипывала. Рубашка была разорвана от ворота до самого подола, и большое сильное тело белело, как пена.

Увидев нас, она запахнула лохмотья рубашки и принялась вытирать нам слезы, успокаивать, утешать. Помню, она обняла меня одной рукой за шею, и я всем телом прильнула к ней. Я плакала так сильно, что долго не могла успокоиться. И теперь я плакала уже не от страха; я плакала от жалости. Мне было жаль мать. Я гладила ее точно так же, как она гладила меня, и утешала точно так же. Во мне проснулась неудержимая нежность. Я смешивала свои слезы с ее слезами, и она вдруг перестала утешать меня. Она уронила свою голову ко мне на плечо и горько плакала и тихонько жа-

ловалась. И тогда странное чувство поднялось в душе моей. Я почувствовала себя подругой этой большой обиженной женщины, и так мы плакали, обнявшись как подружки, как женщины. Я понимала ее горечь, я понимала ее судьбу, может быть смутно предчувствуя свою собственную.

Рядом стоял Сашка, и вид его поразил меня. Это был чертенок — темнолицый и злобный. Его хорошенькое личико было заплакано и искажено яростью. Он стоял насупясь, тяжело дыша, и вдруг выкрикнул с бешенством:

— Я убью его, вот увидишь!

Он топнул ногой — маленький мстительный мужчина — и повторил:

— Убью... Убью...

Он ненавидел отца в эту минуту. Он ненавидел его за то, что он бьет мать. Это был смешной и жалкий гнев, который ровно ничего не значил. Но я знаю уже не смешную неприязнь, которая на всю жизнь осталась у него к отцу от тех детских лет.

Кончилась описанная мной ночная сцена так, как всегда у нас такие сцены кончались. Спустя полчаса наружу выглянула моя старшая сестренка Надя и поманила нас в дом.

— Спит, — шепнула она матери заговорщически.

Надя была любимицей отца. Он никогда даже в пьяном виде ее не трогал. Она не боялась его и, пьяного, всегда укладывала спать.

Мы вошли в дом и улеглись на свои места.

Мама легла со мной, и я заснула крепко, обняв ее за шею.

Наутро все как-то забылось. В конце концов ничего необыкновенного не произошло. Соседи тоже, случилось, били своих жен и соседи соседей — тоже. Утром Горька со смаком рассказывал в кружке дворовых ребят, как „батька вчера в дымину надрызгался, матке выволочку дал и табуретку сломал“. Он деловито сплевывал себе под ноги, и я видела, что он даже немножко гордится удалью отца.

В десять с половиной лет жизнь моя надломилась. Отец лишился работы, мать забеременела седьмым ребенком. Есть было нечего, и меня отправили к тетке в деревню, в Архангельскую губернию.

Тетя Настя — высокая, костлявая, молчаливая — работала как лошадь, да нет — больше лошади. Ей было тридцать два года, но выглядела она старухой. Она вставала в три часа утра и ложилась в одиннадцать вечера. Она мало говорила, улыбки ее я никогда не видела. Я чувствовала, что она привязалась ко мне и любит меня, но ни разу за все время она меня не приласкала.

Руки ее — громадные, коричневые, тяжелые — были всегда чем-нибудь заняты. Она всегда ходила в головном платке. Следов прежней молодости невозможно было угадать на ее лице. Должно быть, она появилась на свет уже старухой — дряблой, костлявой, с тяжелыми работающими руками и обвислой грудью.

Только однажды за все время я видела ее иной. В нашей деревне был такой обычай: когда бабы кончали жать, они оставались

в поле и „гуляли“. Гулянка эта заключалась в том, что они покупали вскладчину водку и выпивали ее. Мне случилось видеть такую гулянку.

Пятнадцать баб уселись в кружок на пригорке и, положив серпы, пили водку. Выпили они очень мало. Тетка, например, выпила всего одну рюмку, — но как они все переменились! Скинув головные платки и подоткнув юбки, они скакали, валялись по траве, хохотали и кричали тонкими напряженными голосами частушки — очень задорные и по большей части неприличные. Они высмеивали в этих частушках мужиков и хвалились своими бабьими статьями. Рты их широко раскрывались, глаза были дерзкие, смех беспокойный.

Мужики в этот вечер не смели подходить к бабам.

Тетка сидела на пригорке, скинув головной платок, и пела. У нее был высокий надрывный голос. Глаза ее были задумчивы и влажны. Глядя на нее, я вспомнила глухие рассказы о ее девичестве и замужестве. Говорили, что она

была красивой и бойкой девкой. Родители принудили ее выйти замуж за нелюбого.

Молодой муж любил ее, как передают, без ума, но она любила парня из соседней деревни. Он тайком ходил к молодой. Муж накрыл их, избил тетку до полусмерти, уехал в город и вернулся только через три дня, черный от винного перегара и почти голый.

Спустя неделю он пошел в соседнюю деревню на какой-то храмовый праздник, загулял там и в драке едва не зарезал того парня. Парень долго лежал в больнице, потом ушел на заработки и больше не возвращался.

Тете Насте муж про прежнее никогда не напоминал, как будто и вовсе забыл его. Но иногда, напившись под праздник, молча избивал ее, гонялся за ней с топором, крушил мебель. Она убегала из дому. Дядя искал ее по всей деревне, не найдя, возвращался домой и засыпал.

Потом снова наступали будни. Оба молчали и работали. Но грех жил между ними вот уже четырнадцать лет, и тетка

знала, что когда-нибудь настигнет ее этот молча занесенный топор и убьет. Четырнадцать лет она была настороже, и молчаливый муж жил возле нее тайным врагом. В этой вражде и борении она родила нелюбимому мужу семерых ребят и разучилась говорить.

Я знала эту историю, но поверила ей только теперь, когда увидела тетку сидящей на пригорке, с глазами задумчивыми и влажными, поющей протяжную и надрывную песню. Черты лица ее странно изменились — стали надменными. Вечером, когда она вернулась, в доме стало как-то странно. Муж вдруг притих. В глазах его и в движениях появилось что-то робкое, собачье. А тетка все с тем же надменным лицом ходила широкими шагами по избе, или, неподвижная, сидела, сложа руки, у окна. Изредка она нивесть чему усмехалась, но в разговоры ни с кем не вступала. Однако самое молчание ее было иным, чем во всякий другой вечер. Горько и подспудно жила девическая гордость в этой костлявой изуродованной женщине.

Деревенская моя жизнь была очень тяжела. Целые дни я вертелась как бес, помогая тете Насте по хозяйству, и нянчила ребят. Их было много. Они копошились в избе, как тараканы. Летом я вытаскивала их во двор, на лужок, иногда в ближний лесок. Там я садила младших где-нибудь на полянке, а сама ходила вокруг и собирала ягоды и пела им издали песни.

Дни были одуряюще однообразны. Я только и знала, что нянчила, кормила, мыла, шлепала, утешала. Ребята висели на мне, как груши на ветвях. Всегда около меня кто-то канючил, чего-то просил. Я привыкла, чтобы от меня чего-то требовали, и эта привычка долго жила во мне. Она, пожалуй, и сейчас живет. Говорят, я заботлива. В этой моей заботливости есть что-то от прежней мамки. Но все же теперь это иная, совсем иная заботливость. Она — разумная и сердечная, а прежде была покорливая и обязательная. Я была равнодушна к детям. Только изредка я вспоминала почему-то умильную Сашкину рожицу, и тогда на

меня находил нежный стих, и я пела своим детенышам как-то иначе и ухаживала за ними тоже иначе.

Скоро я совсем забыла дом. Сперва моя жизнь в деревне была случайным обстоятельством: в семье, после того как отец потерял работу, было тяжело и меня временно отправили подкормиться к тете Насте. Но потом выяснилось, что легче и впредь не будет. Отец долго не находил работы, мать умерла родами. Обо мне забыли. Я прижилась у тети Насти и так и осталась в деревне. Здесь и решалась отныне моя судьба. Ребята подрастали. Я была восьмой. Я была все-таки лишним ртом. Когда мне исполнилось шестнадцать лет, меня прѳсватали, а спустя несколько месяцев хмуро и обычно выдали замуж.

Иногда мне кажется, что все пережитое, все, о чем я пишу, относится не ко мне, а к какому-то другому человеку. И это почти так. В самом деле, я с трудом узнаю себя в той деревенской девушке, которую двадцать с лишком лет назад выдавали замуж.

И все же это была я — от себя ведь не уйдешь, как ни хитри. И вот, когда я подумала, что никому из нас не суждено увидеть себя с такой ясностью, как других, мне неудержимо захотелось взглянуть на себя хоть на минутку совсем-совсем чужими глазами.

Я пошла к моему соседу по квартире и сказала:

— Пожалуйста, Федя, опишите меня такой, какая я есть. Сделайте мой портрет.

Федя — журналист. Он работает в областной газете, и он — чудесный парень. Собственно говоря, его следовало бы звать не Федей, а Федором Николаевичем, так как ему уже тридцать один год, но все почему-то зовут его Федей. Может быть, это оттого, что он очень веселый и молодежавый и говорит всегда громко и много смеется.

Когда я попросила его написать мой портрет, он, конечно, рассмеялся.

— Тоже портретист, — сказал он, почесывая переносицу. — Что вы — сами не можете? Неграмотная?

— Но ведь вы журналист, Федя. Вам, как говорится, и перо в руки. Вы профессионал. И потом, мне хочется взглянуть на себя посторонними глазами.

— Посмотрите на себя в зеркало и пишите. Так делали все великие художники.

— Но я же не великий художник, Федя. И потом, в зеркале будет только мое отражение, внешняя оболочка, внешние формы. А мне хочется чуть больше.

Федя скосил на меня насмешливые глаза.

— Ага, вам хочется психологический очерк?

— Не очень. Но немножко, пожалуй. Чуть-чуть.

Федя решительно затряс головой.

— Нет уж, увольте! Я не пишу психологических очерков. Я — сухой, черствый, потный газетчик. От меня пахнет типографской краской, от меня несет лино-типом, от меня разит фактом. Я не пишу психологических очерков — слышите, женщина? Я не пишу даже немножко психологических очерков, даже чуть-чуть психологических очерков. Поняли?

— Поняла, Федя, поняла. Только вы все-таки напишите.

— Разговорчик! — буркнул Федя сердито. — Чего вы в самом деле нападаете на человека среди бела дня — в коридоре? Я буду жаловаться.

— Федя, — сказала я задумчивым голосом, — ну, пожалуйста. Мне нужен портрет. Я хочу. Я не могу писать о себе как гробовщик, или портной, или фотограф. Я не могу писать о себе: „она была такого-то роста, у нее такой-то цвет лица, такие-то глаза“. Мне стыдно так писать о себе, неловко.

— Господи, — взмолился Федя, — а мне неловко? Я, по-вашему, гробовщик? Портной? Фотограф?

— Но вы посторонний человек. Вам легче.

— Ага, — захохотал Федя, — попались! Я не посторонний человек. Я влюблен в вас страстно, зверски! Я не могу быть объективным. Всего хорошего.

Он повернулся ко мне спиной и, хохоча во все горло, помчался по коридору к своим дверям.

— Федя! — крикнула я ему вдогонку. — Вы напишете! Обязательно. Как вам не стыдно?! Наконец, вы должны мне этот портрет! Вспомните выпускной вечер.

— Ничего не помню! — крикнул он, захлопывая за собой дверь своей комнаты.

Через две недели я поймала снова Федю в коридоре. Он стоял у выходной двери. Возле ног его притулился маленький чемоданчик, за плечами висел рюкзак. Он, верно, уезжал в командировку или в экспедицию. Он часто бывал в отъездах по газетным делам. Читаешь газету — и видишь корреспонденцию то из колхоза какого-нибудь на Украине, то с рыбных промыслов — Териберки, то из Баку, то из Арктики.

Сейчас, увидев Федю с чемоданчиком и рюкзаком, я сразу поняла, что он опять куда-то собрался в отъезд. С тех пор, как я попросила его написать мой портрет, он избегал меня, — так мне по крайней мере казалось. Я спрошу его бывало: „Ну, как, Федя, с портретом? Пишете?“ Он буркнет: „Нет“, — и убежит к себе. Но у меня почему-то всегда та-

кое чувство было, что он пишет или даже написал уже.

Сейчас, увидев, что Федя собрался уезжать, я опять спросила о портрете. Он хлопнул себя по лбу и очень неестественно удивился. Потом небрежно этак бросил:

— Ах, да! Кажется, я в самом деле что-то намарал.

Он сунул руку в карман, вытащил несколько листков, не глядя сунул их мне, сказал: „Пока!“ — и, подхватив чемодан, выбежал вон. С ним всегда так, между прочим. Бросит на ходу „пока“ и исчезнет на три месяца. А потом явится, будто через дорогу в булочную бегал, и, когда откроешь дверь, крикнет: „Ну и погодка чортова!“ или что-нибудь в этом роде, — и убежит к себе.

Ужасно легкий он какой-то. Я думаю, что, если бы ему предложили на луну полететь, он бы собрался минут в двадцать, крикнул бы „пока“ и улетел бы. В то же время от него всегда оставалось такое впечатление, что он человек устойчивый, постоянный, надежный.

А с портретом вообще не очень-то хорошо получилось. Вот что было в листах, которые мне оставил Федя.

*ПОРТРЕТ Д. С. СВЕТЛОВОЙ
В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ,
ИЛИ НЕОЖИДААННЫЕ И ГРУСТНЫЕ ОТКРЫТИЯ
В СОБСТВЕННОМ СЕРДЦЕ*

28 мая 1899 года в семье наборщика Степана Светлова родилась дочь Дарья. Современники этого события передают, что оно не вызвало никаких эмоций среди соотечественников, равнодушно предававшихся своим повседневным заботам.

Только старуха, жившая в подвале того же дома, что и наборщик, сказала другой старухе, жившей в подвале другого дома:

— Наша-то Светлиха шестым опросталась.

На что упомянутая другая старуха из другого дома мрачно заметила:

— Нарожают, ироды, а потом с голодухи пухнут, прости господи...

Так вступила в мир Д. С. Светлова — ныне доцент Индустриального института.

Антропометрические данные: рост, примерно, сантиметров 165, вес — кило 64—65. Несколько полновата. Черты лица до чрезвычайности приятны. Блондинка (натуральная). Зарплата — 700. Замужем и, по свидетельству очевидцев, счастливо. Имеет семилетнего сына Шурку, сорванца и красавца со здоровым желудком и отличными способностями, и трехлетнюю дочь Маришку — девицу необыкновенной самостоятельности и миловидности. Хозяйство блюдет. Случается, прибирает комнаты даже посторонним. Я уже пробовал жаловаться на это безобразие мужу, но этот счастливый обладатель прекрасной блондинки какой-то нравственный урод. Он улыбнулся мягкой всечеловеческой улыбкой и сказал: „Бросьте, Федя, — стоит о пустяках говорить. Даша делает это для собственного удовольствия“. Я кричу: „Хорошенькое удовольствие — чужое барахло ворошить!“ Он говорит: „А почему нет?“ Загадочный человек! Сфинкс какой-то. Вообще — семейка ужасная.

Шурке, например, ничего не стоит

ворваться ко мне в комнату и ни с того, ни с сего начать допытываться, не болен ли я. При этом он сообщает, что мама очень беспокоится и будто бы слышала, что я покашливал ночью. Я, конечно, вскакиваю в негодовании и кричу, что подслушивать по ночам у дверей частных граждан, доверчиво кашляющих на своей собственной жилплощади, подло и гнусно.

Потом я осторожно беру негодя за плечо и выставляю за дверь. Он уходит, но медовый голос его, предлагающий пойти к ним пить чай, долго струится сквозь замочную скважину и нежно свербит в барабанных перепонках. Удивительно, до чего люди любят совать нос не в свои дела!

Кстати, о носах. Это, без сомнения, самый наглый орган человеческого тела, совершенно не по праву занимающий самое видное место на нашем лице. Он сидит глупым, мясистым наростом на самом припеке. Он лупится от жары, краснеет от слез, от ветра, от алкоголя, от мороза, покрывается то угрями, то

веснушками. Я не видел носа, который украшал бы человеческое лицо:

И тем не менее я — да не только я, но всякий здравомыслящий и беспристрастный человек — должен признать, что нос Д. С. Светловой украшает ее. Больше того, он красив сам по себе. У него благородный хрящ и строго вырезанные ноздри. Он — продолжение гладкого чудесного лба.

Однако оставим нос и, бегло коснувшись неширокого, но чистого лба, вознесемся к вершинам прически — этому высочайшему произведению нежного искусства пленять. О тайна прически! Она вечна, покуда живет на земле вечная нелысеющая женщина. Золотые змеи клубятся над пылающим челом, подобные змеям Медузы-Горгоны. Ты каменеешь от одного брошенного на них взгляда. И тогда они вдруг, укрощенные, ложатся гладкими ниспадающими к ушам скатами и свешиваются литым узлом к изнемогающему от их тяжести затылку.

Их хочется распустить, раскидать по плечам, по спине, бросить потоком к коле-

ням. А потом... потом вам захочется собрать их, вновь уложить узлом на затылке. Но это невозможно. Этот ржаной поток послушен только одной паре рук. В целом мире существует только одна пара рук, которая может овладеть ими и одним небрежным движением уложить их в таинственный ореол.

Она почти не взглянет на них. Она только приподымет локти; она вознесет к небу их нежные округлости и бессознательно исказит случайного свидетеля этого общедоступного и вечного таинства. Ах, эти руки — длинные, крупные, белые. Глядя на них, я впервые понял, что руки созданы для того, чтобы осязать мир.

Боже мой, что значат мои несчастные пятипалые растопырки, годные только на то, чтобы прятать их в перчатки! Руки, которые делают только то, что делают, — еще не руки. Это просто конечности, телесные рычаги, механизмы. Руки должны нечто выражать.

У нее они выражают нечто. Это нечто — она сама. Прекрасней этого ничего нельзя придумать. У нее удивительная спо-

способность выражать себя в каждом движении, и оно не придумано, это движение, даже не обдуманно, оно непосредственно: за ним следует она сама, вся целиком.

Мне становится теперь понятным выражение „отдать руку и сердце“. В нем нет ничего фигурального. Отдать руку — значит отдать все, отдать палец, даже ноготь — значит отдать все. В каждой своей частице — вы вся целиком, Дашенька. Вы дышите всем существом, думаете всем существом, двигаетесь всем существом. У вас нет походки, нет этого тягостного чередования переступающих конечностей.

Вы надвигаетесь как буря. И вы поете, ударяя каблучками по клавишам лестничных ступеней. Я слышу из своей комнаты эту торжествующую трель восхождения, и каждый день она неповторимо нова. Тыходишь в мир, как в первый день его рождения. Ты стоишь на пороге своей квартиры, как у ворот волшебного царства. Примуса умолкают потрясенные. Дом вздрагивает. Твоя высокая грудь наполняется взволнованным дыханием.

В детской взвизгивает Маришка. Шурка мчится коридором. Он кричит:

— Мама! Мама!

Он бросает свое „мама“, как спасательный круг на воду. Ты подхватываешь этот круг, а вместе с ним и самого Шурку. Ты смеешься и стряхиваешь с воротника щекочущие брызги дождя. Дверь захлопывается за твоей спиной, как рука ростовщика, схватившая горсть драгоценностей. Ты сбрасываешь шляпку, и в дом входит жизнь. Котлета только теперь начинает как следует румяниться. Кошка выгибает спину и курлычет, как журавль. Она спала где-то за шкафом, и пыльная морда ее улыбается. Перо в моих руках вдруг оживает и начинает бойко сновать по бумаге. Я насвистываю. Я чувствую, что теперь можно поработать, теперь все, наконец, в порядке, теперь очерк выйдет. Я счастлив. Я счастлив и страдаю, как раненый бык. Я мотаю головой и мычу — жалкий и смятенный, как все неудачливые влюбленные. И это длится годы. И каждый день был наполнен этим жгучим зудом люб-

ви, и это оставалось тайной для меня самого.

Кто бы мог подумать, что существуют болезни с многолетним инкубационным периодом. Ах, черт побери!.. Чорт побери этих милых заказчиц портретов, этих василисков в юбках. Ну, какому палачу придет в голову сказать с любезной улыбкой человеку, которого через минуту он вздернет на виселицу: „Пожалуйста, дорогой, запомни мои милые черты и опиши их на том свете“. О эти цельнометаллические натуры; эти сирены, выстукивающие каблучками похоронный марш вашему идиотскому сердцу; эти ископаемые с длинными волосами и короткой памятью, с напудренным носом и прелестями, лежащими за границами золоченой рамки.

О бессмертный Солопий Черевик, восклицающий: „О господи боже мой, и так много на свете всякой пакости, а ты еще жинок сотворил“.

О поэт, протонавший:

Я не знаю, что бы с миром стало,
Если б в мире не было тебя!

Поистине, это так.

И это трагедия, товарищи, это трагедия! Она замужем. Она любит мужа. Она любит его, чорт побери, и он славный парень — ее муж. Я обещал привезти ему пимы из экспедиции. И я их привезу, чорт побери, только бы не забыть размера. И он наденет их и, благодарно улыбнувшись расторопным пенатам, протянет ноги к жаркому семейному очагу.

О этот очаг! С каким бы наслаждением я разнес его вдребезги. Я бы заботился о Шурке, как самая нежная мама... Я бы носил ее на руках. Я силен и молод. И я ни в чем неповинен, честное слово! Дом не виноват, что он горит. Он хочет воды, бедный дом... И разве он не имеет на это права? Что значит — разбить семейный очаг? Ничего не значит. Я видел разбитые очаги. Они разбивались только потому, что они были плохими очагами. Прочный, хороший очаг неразбиваем, как пластмасса. А плохих очагов мы не должны производить. У нас повышенные требования к качеству нравственной продукции вообще и семейных очагов в част-

ности. Я не беспокоюсь за наши семейные очаги. Я скорблю о третьем лишнем, о честном, хорошем третьем с затянувшимся инкубационным периодом. Он устроен менее остальных, и хорошо еще, если ему, как мне, подвернется корабль, имеющий задание в одну навигацию пройти из Мурманска во Владивосток.

Итак, прощай, любимая! Мне грустно, и портрет твой явно не удался. Ты во сто крат прекрасней того, что я могу сказать о тебе...

Прощай, моя любимая! И благодарю тебя за то, что ты существуешь.

Федя.

Р. S. Несколько неожиданно, не правда ли, моя любимая?

Р. Р. S. И еще. Не отнимай у меня права посмеяться над собой, чтобы никто другой (и ты) не мог этого сделать. Прощай.

Признаться, письмо Федино застало меня врасплох. Вот уж, поистине, „несколько неожиданно“. Дважды перечитала

я его, и мне было и стыдно и... приятно — с этим уж я ничего не могу поделать. Ах, Федя, Федя, милый ты, милый, я реву над твоим письмом как дура. И я не стою такого письма. Я вовсе не такая хорошая и не такая красивая. Я не уродина — это правда, но, конечно, не красавица.

Единственно, в чем ты совсем прав, милый мой газетник, — это что я целиком живу. Я не знаю — плохо это или хорошо, но я существую всегда как-то вся зараз. Я не умею дробиться — ни в чувствах, ни в ощущениях, ни в поступках. Я не дам ни руки, ни пальца, ни ногтя, не отдав всего, — это так. И потому... потому-то я не протяну тебе „руку помощи“.

Мне всегда противны были эти утешительницы. Они прижимают голову несчастного к своей груди с неосознанным желанием дать почувствовать, как хороша эта грудь.

Нет, Федя, милый, хороший, я не стану утешать тебя.

Это жестоко?

Может быть. Женщина, которая любит, почти всегда жестока. Я люблю. Я думаю, что все в конце концов устроится к лучшему. Мы все будем следить за вашей экспедицией. А когда ты вернешься, комната твоя будет прибрана чисто-на-чисто; Шурка будет обожать тебя по-прежнему, и Маришка тоже, и я буду рада, если у тебя заспорится работа, когда я войду в дом. Так и будет. Уж я устрою, что так будет. Мне тридцать восемь, Феденька, а вы еще мальчик — вам всего тридцать один.

Я несколько ушла в сторону от своего рассказа. Пожалуй, пора к нему вернуться. Замужество мое не доставило никому ни особых хлопот, ни особых огорчений, ни особых радостей. Сговор занял немного времени, свадьба еще меньше. Я была в семье почти приемышем, вскормленным из милости. Меня, босоногую, брали в богатый дом, шел девятьсот пятнадцатый год — второй год войны, — все это исключало пышные церемонии. В вечер свадьбы, однако, поряд-

ком пошумели, даже кого-то чуть досмерти не избили в случившейся драке. Гости пили до синевы самогон, орали сипло и не в лад песни и толклись под гармонику на широком дворе у поветей.

Как невесело это было. Я сидела у стола подавленная и испуганная. Рядом, потный и пьяный, сидел жених — нет, не жених, а муж. Я тогда не чувствовала этой разницы, но она как бездна легла между мной и моим прошлым всего через несколько часов, когда он пришел ко мне как господин, чтобы взять то, на что он, в сущности говоря, не имел никакого права.

Если бы я прожила еще сто лет, и тогда, думаю, не забыла бы я горьких унижений этого дня и этой ночи. У меня и сейчас к горлу подступает, когда я вспоминаю об этом, а что тогда было...

Я лежала, забившись в угол большой деревенской кровати, и смотрела на этого чужого человека, как кролик на удава. Уже рассвело, и все окружающие предметы были отчетливо видны. Рыжая голова

его с жесткими торчащими волосами походила на огненного ежа. Он был старше меня на семь лет и чуть хром, отчего его и в солдаты не взяли.

Он приближался ко мне, неотвратимый как судьба, мой хозяин и властитель. Я отшатнулась от него к самому краю постели, я почти вросла в сухую избушную стену, но дальше двигаться было некуда. Я не могла уйти от него...

В лицо мне пахнуло удушливым винным перегаром. Я почувствовала прикосновение его потной руки и закричала. Ужас, стыд и отвращение были в этом негромком, стонущем, зверином вскрике... Я вспомнила мать... Если б она была здесь; если бы здесь был кто-нибудь, кто мог бы защитить меня. Но кто мог защитить жену от ее законного мужа? Если бы жена даже убежала от него, он мог потребовать ее возвращения по этапу, и полиция возвратила бы ее и водворила вновь в мужнюю постель. Таков был закон.

Нет, никто не мог защитить меня, никто в целом мире. И я защищалась

сама. Я извивалась и билась в его руках. Я не хотела его. И так мне было легче. Я никогда не простила бы себе, если б не защищалась.

Но, в конце концов, все это было, конечно, бесполезно. Никто не мог мне помочь. Никому дела не было до моих страданий. Да и особенного в этом ничего не было. Так поступали с тысячами, с миллионами женщин. Миллионы женщин подвергались узаконенному насилию. Может быть, не у всех это протекало так остро, как у меня, но, в конце концов, сила личных ощущений не играет тут особой роли, потому что речь идет о системе.

Жизнь моя как бы остановилась. Случалось ли вам видеть старых водовозных кляч — понурых, безразличных ко всему окружающему, с мутным остановившимся взглядом? Я была такой клячей. Оупение, застылость были обычным моим состоянием. У меня было точно такое же тупое и равнодушное выражение лица, как у тети Насти.

В сущности говоря, я ничем от нее не отличалась, разве что костлявости во мне теткиной не было.

С телом моим произошла странная вещь. Оно вдруг вышло из повиновения. Оно начало жить независимо от моей воли. Душа моя умерла, и именно в это время тело расцвело. Оно приобрело округлость, даже некоторую пышность. Природа ничего не хотела знать — ни моих страданий, ни моих тревог. Она делала свое дело, и я возненавидела ее.

Днем я работала, — мои руки, мои ноги были только рычагами. Они выполняли нужную работу, делали нужные движения — и это все, что от них требовалось. Тело было рабочим механизмом, и я не ощущала его. Потом приходила ночь, и вместе с ней этот рыжий. Постель была моей плахой...

На четвертом месяце замужества я забеременела. Положение мое от этого не изменилось. Я столько же, сколько прежде, работала; никакого чувства материнства у меня не было. Мне было

неловко и тяжело от моего вздутого живота — только и всего. Еще на девятом месяце беременности я жала рожь. От этого страшно ломило в крестце, и я должна была часто прерывать работу, чтобы передохнуть. В остальном все было попрежнему. То же одуряющее однообразие дней, чувств, лиц.

Только однажды я на мгновение как бы проснулась от своей отупляющей спячки. Это случилось уже тогда, когда все было кончено и повитуха взяла ребенка в руки. Не знаю, что тогда случилось, но мир вдруг просветлел. Я ощутила необыкновенную легкость, мне хотелось вскочить с постели и убежать в поле, убежать из этой душной избы, от этого волосатого рыжего властелина, от быстрогоглазого красногубого свекра и ненавидящей меня свекрови. Мне хотелось сбросить все это с плеч, подхватить на руки своего маленького и уйти с ним в поле, в лес... Я бы шла, держа его у своей груди, и пела бы старую песенку, которую певала своим куклам в дощатом кукольном домике возле забора:

У кота-воркота
Была мачеха лиха...

Свет ударил мне в глаза. Сердце тронулось, как река в ледоход. Все худое забылось. Я лежала потная, слабая и блаженно улыбалась. Потом я тронула холодными пальцами свекровь и попросила:

— Свекровушка, дай глянуть на него.

Свекровь стояла рядом с постелью. Она строго поджала губы, потом из глаз ее капнуло на сморщенные щеки несколько скудных слезинок. Она вытерла их корявой одеревенелой ладонью и сказала:

— Что казать-то? Мертвенький он.

Свет снова померк. Из глаз моих хлынули слезы. Все было кончено раз и навсегда. Не будет ни поля, ни леса, ни песенки про кота-воркота. Все будет, как прежде.

Свекровь жалостно поглядела на меня и сказала тихо:

— Бог дал, бог и взял. Чего горевать!

Я прижалась щекой к ее шершавой грубой ладони, и слезы лились и лились у меня из глаз. Она погладила меня по

голове, это была первая и последняя ее ласка. Потом она не раз попрекала меня этим мертвейшим. Но это было после. В ту минуту она жалела меня, и эта бабья жалость соединяла нас. У нас была одна и та же судьба. И я вырасту и состареюсь, и сморщусь, и снесу побои и вековой труд, и замертвею, как древесная кора, и буду язвить и бить невестку. Мы значили одно и то же. И мы тихонько плакали, держа друг друга за руки.

Через два дня эта же свекровь бранью согнала меня с постели. Надо было работать. Я была еще слаба. Ноги едва держали меня. Все же я поднялась и взялась за работу. И вот снова потянулись мутные, слепые дни. Все пошло по-старому. Только здоровье стало хуже. От обилия молока невыносимо болела грудь. Природа делала свое, ей не было дела до того, что мне некого теперь кормить. Я заболела грудницей и долго не могла оправиться. Силы как-то надломались. Тело мое опало. Я чахла и старела. Жизнь моя была решена.

Чего могла я ждать, живя в деревне?
Ничего.

У меня не могло быть никакого будущего — раб не имеет будущего. Единственной переменной, которая меня ожидала, было переселение на тихое деревенское кладбище возле церковной ограды. От него отделяла меня мерная череда лет унылого существования, в котором все заранее известно.

И вдруг все переменялось. Да как! Все это прямо фантастика какая-то, честное слово. А все Сашка, милый мой Сашка, — он ударил в мою жизнь, как гром среди ясного неба. Он ворвался в нее на всем скаку — беспечный, белозубый, буйный — и жизнь моя разом переменялась.

Но раньше Сашки была революция. Она тоже была громом, но он грянул где-то далеко, и в наш глухой угол он докатился позже. Я не услышала первых его раскатов. Я не подозревала, что это грянул гром и моей весны.

Между тем что-то уже случилось, что-то происходило, что-то бродило вокруг

меня. Люди яростно спорили, сбивались в кучи. Поп произнес проповедь в церкви против „коммуни“, кого-то обзывали „большаками“, кто-то вооружался и кто-то прятал оружие. Потом возникло слово „кулак“, и оказалось, что это и есть мой свекор. Он ходил злой и насупленный и клял „большаков“. Потом пришли белые, и свекор повеселел, и двоих сельчан повесили на площади против церкви, и одного в реке утопили. Потом заговорили о красных. Свекор снова посмутнел и что-то зарывал в хлев, и я знала что.

Все это существовало для меня в таких вот, как я пересказала, обрывках, но общего смысла и связной, ясной картины всего происходившего я не видела.

И вдруг на меня налетел Сашка.

С вечера в деревню нашу пришли красные. Сперва была стрельба, и мы забрались в подвалы. Потом появились обтрепанные люди с ружьями — это и были красные.

Путру меня послали за водой. Я быстро добежала до колодца и, наполнив ведра, пустилась в обратный путь. Не

успела я отойти и десяти шагов, как откуда-то из-за угла наскочил на меня верховой. Я отошла к краю дороги, чтобы пропустить его. Но верховой круто осадил коня и спросил:

— А ну, молодница, где здесь штаб стоит?

Я потупилась и ответила нетвердо:

— А не знаю.

Конь заплясал. Я отступила на шаг назад и быстро глянула на всадника. В ту же минуту он перегнулся в седле. Конь снова подступил ко мне. Я увидела перед собой безусое, медное от загара лицо и почувствовала на своем плече горячую и легкую руку. Я отшатнулась и, вскрикнув, уронила ведра. Вода вылилась на дорогу, а всадник закричал высоким голосом:

— Сестренка!

Что-то ударило меня в сердце при звуке этого высокого голоса, даже не голоса, а смутно знакомой интонации. В лице всадника тоже проступали знакомые черты. Я еще не узнала его, но уже все во мне предчувственно потяну-

лось ему навстречу. Сердце шло впереди разума и памяти — у него были свой разум и своя память.

И вдруг я узнала.

— Сашка! — закричала я во весь голос, и перед глазами у меня пошли круги.

Не успела я опомниться, как Сашка мой спрыгнул с коня и вихрем налетел на меня.

— Ну и здорово! — вскрикивал он, обнимая меня и смеясь. — Нет, ты скажи, как здорово получается!

Он тискал мои плечи и все смеялся, и лицо его светилось. Теперь я видела, что это мой Сашка. Я узнавала милые его черты — высоко вскинутые брови, смешливый девичий рот, родинку у глаза. Это был Сашка, мой чудный Сашка, мое детство, мои прежние вольные годы. Я глянула в них, и у меня защемило сердце.

— Ну, как живешь, сестренка? — торопливо спрашивал Сашка. — Как кормишься?

Я ничего не ответила и, прижавшись к Сашке всем телом, горько заплакала. Сашка был удивлен.

— Ты что? Ты что, сестренка? Слышь? — говорил он испуганно и сбивчиво.

Я все не отвечала. Я только поглядела на него заплаканными глазами, и, должно быть, кроме радости встречи, в них было и другое, и, должно быть, у Сашкиного сердца тоже был свой разум, опережавший голову.

— Плохо? А? — переполошился он. — Плохо? Говори.

Я заплакала сильнее. Сердце мое было переполнено. Я и сама не знала, почему так сильно плакала. Должно быть, пришло мне вылить накопленные слезы.

— Эге! — сказал кто-то возле нас. — Да ты не промах, Сашка! Только заскакал, а уже девку зацапал. Важный боец!

Мы оглянулись. В двух шагах от нас стоял высокий дядя, подпоясанный веревкой, на которой болтался наган. Сашка смущенно одернул гимнастерку и сказал отрывистой скороговоркой:

— Брось, Афанасьев! То сестренка. Восемь годов не видались. А тут на тебе.

Он все еще был растерян, и губы все еще дрожали в улыбке. Она не хотела, казалось, сходить с молодого лица. Он и говорил улыбаясь.

Через минуту мы расстались. Сашка выпросил, где я живу, и пошел с товарищем в штаб. Я воротилась домой без воды и в слезах. На меня набросились с расспросами. Я ничего не отвечала — только плакала. Все решили, что меня избидели красные, и свекор, ругаясь, побежал припереть ворота.

Весь день я плакала. Работа валилась из рук. Свекровь из себя выходила от злости. Но мне было все равно. Я едва слышала, что она говорила. Наконец, на меня махнули рукой и оставили в покое. Я сидела в уголке в сенях и плакала. Я не знаю, откуда только у меня слезы брались. Все мне стало вдруг постыло. Я как бы увидела себя и, пригорюнясь, оглядывала пройденную жизнь. Вечером я пересказала ее Сашке. Он слушал, покусывая губы, и лицо его, молодое и свежее, на котором неугасимо сияла жизнь, мрачнело все больше и больше.

— Ладно, — сказал Сашка мрачно. — Бога нет, крой дальше. Устроим.

Он был очень огорчен. Ему было больно — я это видела. Он любил меня. Он, может быть, и сам всплакнул бы, но красному бойцу невозможно было плакать — и он крепился.

О дальнейшем я рассказываю не только из того, что тогда знала (я, собственно, тогда мало знала), но и из того, что стало известно мне потом.

Белые все время были недалеко. Деревня глухо волновалась. Несколько кулаков исчезли — ушли к белым. Оставшиеся их родичи и соумышленники держали с ними связь и готовились устроить красным баню. Красные как-то узнали об этом. У кулаков стали искать оружие. Пришли к нам четверо, и с ними Сашка. Свекор был зелен от злости. Я знала, что он ненавидит их и если б мог, то передушил бы их на месте — всех до одного, и моего Сашку тоже. Он был враг Сашки, моего Сашки, и он стал моим врагом. С этого все и началось — с чувства.

Они искали оружие. Они ничего не

нашли. Сашка ходил по двору, сумрачно покусывая губы и подергивая винтовку за плечом. Я следила за ним издали. Я боялась за него.

У стенки хлева мы встретились. Сашка посмотрел на меня как-то странно. Потом он оглянулся по сторонам, будто хотел убедиться, что никто нас не подслушивает. Ему хотелось спросить о чем-то меня, я видела это. Я стояла, припав спиной к стенке хлева. Он все смотрел на меня. И вдруг я поняла, зачем Сашка оглянулся по сторонам и о чем он хочет спросить. К щекам моим прилила краска. Сердце сильно забилося. Я опустила голову и указала пальцем на заднюю стенку.

— Здесь... аршин от стены... под навозом...

Сашка чуть кивнул головой и пошел к овину. Из овина вдруг вынырнул свекор. Сашка шел ему навстречу. Когда они разминулись, Сашка повернулся и проводил его глазами. Свекор, подходя, все смотрел на меня, желая, видимо, что-то сказать мне. Сашка стоял и следил за каждым его движением. Свекор украдкой

оглянулся. Сашка все стоял и глядел. Свекор прошел, ничего не сказав, только глянул на меня быстрыми глазками, в которых стояли сейчас угроза, приказание и предостережение.

Я поняла, и сердце мое радостно забилось. Я начинала платить долги.

Оружие нашли.

Я стояла у притолоки и смотрела, как его откапывали. Сашка не обращал будто бы на меня никакого внимания. Но свекра обмануть было трудно. Он уже все учуял. Он так посмотрел на меня, что у меня мурашки поползли по спине. В то же время меня охватила злобная радость. Я видела, что свекор как бешеный, и его бешенство радовало меня. Я мстила за себя. Но в то же время мне было страшно. Я видела, что будет, когда Сашка и его товарищи уйдут. Я знала, что меня будут бить долго, зверино, всей семьей и, может быть, убьют. И все же я испытывала радость — ужас и радость вместе.

Но вышло, в конце концов, так, что страшное меня миновало. Когда красные

собирались уходить, Сашка кивнул на меня и сказал с нарочитой суровостью:

— А вам, гражданочка, придется прогуляться с нами в штаб.

Он взял меня с собой. Он был хитрый, мой Сашка. Он спас меня.

В штабе он сказал мне решительно:

— Будет. Бога нет, крой дальше. С нами пойдешь, сестренка.

Картина такая: за столом сидит девушка и пишет. Она торопится. Надо какую-то заметку переписать. Типография ждет. Девушка тяжело вздыхает. Дело подвигается туго. Она пачкает пальцы чернилами. Волосы падают на бумагу. Она досадливо отмахивает их назад. Она ставит кляксы и плачет от досады и бессилия. Входит комиссар полка. Он смотрит на девушку и, сочувственно качая головой, спрашивает:

— Что? Не ладится?

— Не ладится, — говорит девушка с отчаянием. — Ничего не ладится. Я вообще малограмотная и глупая. И как же тут заладится? Разве тут заладится...

Она вдруг приходит в ярость.

— И ничего все равно не выйдет. Не хочу... Не могу я ничего.

Она плачет навзрыд.

Комиссар растерян.

— Вот те на, — говорит он, подымаясь и снова садясь, — чорт знает что...

Глаза его выпучены, губа отвисла. Он никогда не знал, что нужно делать с плачущими женщинами, и кроме того все это застаёт его врасплох. Кончается тем, что он через стол гладит девушку по плечу и говорит ласково:

— Ничего. Ничего. Это, брат, только спервоначалу тяжело. А потом привыкнешь — легче пойдет.

Она подымает на него заплаканные глаза и говорит сквозь слезы:

— Ну тебя с разговорами твоими. Помог бы лучше.

— Давай-давай! — торопится комиссар. — В чем дело? Только уж, пожалуйста, без этого, без капли. Идет?

Они принимаются за заметку вдвоем. Комиссар читает ее и вдруг багровеет.

— Да это ж мой писал, Терехин Васька, второго взвода первой роты. Ах, чортушко, шкурник!

Комиссар запикивает заметку в карман полушубка и, не прощаясь, уходит.

Девушка стоит перед столом ошеломленная неожиданным оборотом, который приняло дело.

— Помог, — говорит она с шутливым отчаянием. — Нечего сказать — помог.

Где-то вдалеке ударяет пушка. Девушка прислушивается. Глаза ее загораются. Входит редактор.

— Маклинка бьет, — говорит она, улыбаясь. — Не сойти с этого места.

— А ты сойди, — говорит редактор, — сойди, да беги в типографию. Заметку переписала?

— Как же, переписала, когда ее комиссар утянул.

— Какой комиссар?

— Левман.

Редактор, только что добродушно шутивший, вдруг разъяряется и кричит как одержимый. У нас все так бывало. То хохочут, то за наган хватаются, то

грызутся до пены у рта, то голову друг за друга кладут.

Через минуту в редакции дым коромыслом. Редактор вопит:

— Безобразия! Анархия! Лезут не в свои дела! Чорт знает что такое! Я покажу ему как таскать заметки! А ты где была, распустеха?

Девушка кричит:

— Не буду я тут у вас пропадать. На позиции пойду. Не могу я у вас. Ничего не понимаю. Уйду — и все.

Редактор разъяряется еще больше. Оба кричат и топают ногами. Потом, накричавшись до хрипоты, редактор садится за стол и, свернув из старого приказа козью ножку, говорит будничным голосом:

— Знаешь что, давай-ка чайку попьем.

— Давай, — соглашается девушка, — только ты смотри, Сверлов, я все одно уйду.

— Ладно, — устало отмахивается редактор, — не скули. Откомандируем. Подыщу кого-нибудь, и катись на все четыре.

И подумать только, что этой девушкой была я!

Только дикий мой Сашка мог придумать такую чушь, как определить меня в газету. Что касается меня, так я вообще куда угодно пошла бы. Меня выпустили в жизнь, как выпускают снаряд из пушки, и я мчалась, ничего не разбирая на своем пути. Мной овладела какая-то отчаянность. Все мне было по плечу. Это было почти фантастическое превращение. Меня держали в клетке, в темнице. Мне ничего не дозволялось. Я ни на что не имела права. И вдруг меня выпустили на свободу! Мне дозволялось все! Я получила неограниченные права!

Сперва я растерялась, но потом ничего — обвыкла. Сашка подбадривал меня, хохотал и, похлопывая по плечу, говорил:

— Бога нет, крой дальше, сестренка.

Первые четыре месяца Сашка держал меня при себе. Он состоял в это время в Шелексовском партизанском отряде на Северном фронте и переменялся не менее моего. Я помнила Сашку тоненьким, немного застенчивым, с девичьим лицом, с большущими голубыми глазами. Теперь это был вихрастый разудалый парень.

Папаха его была всегда лихо сдвинута набекрень, в зубах, особо залихватски свернутая, дымила цыгарка. Он был с ног до головы обвешан оружием и гремел на ходу, как броневик.

Все нежное в себе он пытался подавить, во всяком случае укрыть от посторонних, и говорил нарочито грубым голосом. Несмотря на то, что ему едва исполнилось семнадцать лет, он успел уже побывать во многих переделках. К шелексовцам он попал случайно. В одной из схваток на железной дороге под станцией Емцой Сашка был ранен. Его часть отступила. Сашка остался в лесу близ дороги в тылу у белых. Шелексовские партизаны, постоянно действовавшие в белых тылах, наткнулись на него и подобрали. Он отлежался среди партизан и прижился к ним. В отряде Сашку любили (разве можно Сашку не любить?), звали красавчиком и дивились его отчаянности.

Вначале я была в отряде чем-то вроде стряпухи. Я кормила, поила, чистила и обшивала партизан. Когда они отправлялись в какую-нибудь операцию, я оста-

валась на стоянке. Однажды партизаны привели с собою раненого. Я стала ходить за ним вместе с нашим фельдшером и быстро выходила. Потом я уже ухаживала за всеми ранеными, какие случались, и мало-помалу стала неотъемлемой частью отряда. Теперь, куда бы отряд ни отправлялся, я шла за ним. Понемногу я научилась стрелять, даже пулемет позже освоила, и полюбила оружие жадной, злой любовью. Каждый выстрел был мстостью за меня и утверждением нового моего состояния.

Я старалась изо всех сил не быть помехой отряду. Как Сашка, я скрывала нежные свои движения, старалась казаться грубой и решительной. Это мне удавалось. Я мало улыбалась, была немногословна, шагала по-мужски. Во время операций в белых тылах приходилось делать большие переходы по лесной целине, зимой, по пояс в снегу. Я тянула из себя жилы, чтобы не отставать. Возвратясь, я падала без сил, но не раньше, чем забиралась куда-нибудь в уголок, где меня никто не мог видеть. Я старалась

быть как можно более мужественной, как можно более походить на окружающих меня мужчин. Я не видела между ними и собой никакой разницы, как и партизаны. Только командир отряда меня смущал временами. Он глядел на меня с какой-то особой строгостью, и я его, признаться, боялась. Но однажды, когда я неожиданно и к месту заменила раненого пулеметчика, он посмотрел на меня одобрительно и тут же буркнул:

— Штаны хоть возьми у завснаба, что ли. Юбка-то по швам лезет, где мы тебе возьмем...

Я взяла у завснаба штаны. Первое время партизаны надо мной посмеивались, потом привыкли, и все шло хорошо, когда вдруг произошел нежданный случай, все переменявший.

Мы стояли за Шелексой. Белые заняли Шелексу и чинили там суд и расправу. Тридцать пять родичей партизанских забрали и отправили в тюрьму. Там и погибли многие, или на каторге, куда их потом сослали. Все это узнали мы много

позже, а тогда только подозревали, что там белые могут делать. Поугрюмили партизаны. Впервые вытеснили их белые из родных мест. Еще скучней было оттого, что почти месяц не было никаких операций. Стояли мы как на отдыхе, но отдых этот, надо сказать, невеселый был.

И вот, вдруг появилась среди нас женщина, да не просто женщина, а из Шелексы — жена нашего зава снабжением. Как услышали партизаны, что из родной деревни человек пришел, так и повалили гуртом в избу, где командир, а вместе с ним и завснаб стояли. Приходят. Видят — в самом деле, сидит баба, чай пьет. Муж вокруг нее комаром вьется, а надо сказать, что гостья наша (звали ее, кажется, Лушкой) была баба хоть куда — белотела, румяна и к тому же лукава, как бес. Все ей точно родной обрадовались. Один командир наш сидит за столом насупясь. Ему все это, видимо, сильно не нравилось.

Стали партизаны Лушку о своих спрашивать — о жёнках, о ребятах, о хозяйстве. Лушка плечами вертит и трещит

языком, как заводная. От рассказов ее остается странное и двойственное впечатление. С одной стороны, рассказывает она, что белые на работы гонят, что арестовать ее хотели как жену партизана (оттого, мол, и убежала), а с другой — как-то так выходило, что живется ничего, продовольствия белые навезли много — консервов разных, муки белой. Хуже всего, однако, в ее рассказах было то, что она стала с лукавым огорчением повествовать, как та да та партизанская женка с белыми погуливает.

Партизан эти известия за живое взяли, а командир не вытерпел и скинул, будто ненароком, со стола чашку. Чашка грохнулась на пол и разбилась вдребезги. Получился маленький переполох. Командир погладил ладошкой круглую свою голову и говорит:

— Ну, давай, ребята, по домам. Завтрашний день дотолкуем. Дайте отдохнуть человеку. — И он повернулся к Лушке: — Ты с утра, верно, в походе?

— С утра, — кивнула ему Лушка.

— Ну, вот видишь.

Вытолкал командир всех из избы. Поговорил с Лушкой в уголке, так что она язык прикусила и вся залилась румянцем. Потом улеглись спать. Лушка с мужем на печь забрались, я — на лавке, командир и Сашка — на полу.

Ночь выдалась ясная. В окошко месяц смотрит. Я лежу — не сплю, думаю о Лушке, о лукавых глазах ее. Какое-то неприятное чувство вызывает она у меня.

Сашка уже храпит на всю избу. Лушка на печи с мужем шепчется. Командир лежит как мертвый — не шелохнется и не дышит. Потом вижу — прошел час, поднимает командир голову и слушает, о чем на печи шепчутся. Я было подумала: „К чему это ему?“ — потом мысли запутались, и я уснула.

С этого дня все у нас пошло вразлад. Партизаны все — как в воду опущенные. В глазах — тоска; серые все какие-то, невыспавшиеся. А Лушка ходит румяная, вертлявая. Ко мне прилипла, скалит зубы на мои штаны, мигает мне.

— Неловко, поди, в штанах-то. Мужики

наверное обижаются. Несподручно им с тобой.

Я покраснела до корней волос и отошла прочь. А она хохочет, заливается.

Проночевала она две ночи. На третью, я слышу, на печи Лушка говорит мужу тихонько:

— Надо мне домой срыжаться.

Муж говорит:

— Зачем тебе домой?

Она отвечает.

— Как же зачем? Хозяйство оставлено. Позорят.

— А вдруг да тебя заарестуют, как приедешь, — беспокоился муж.

— Меня-то не заарестуют, — шепчет со смешком Лушка.

Я слушаю — и вижу: опять голова командира торчит.

Семь дней прожила у нас эта бабенка и все исподтишка мутила партизан. Ребята даже похудели за эти дни. И некоторые стали поговаривать, что, мол, надо бы в свою деревню наведаться тайком через фронт. Я люто ненавидела Лушку, а командир готов был задушить ее, но

придумать что-нибудь, чтоб избавиться от нее, не могу.

На восьмой день прискакал ординарец из Особого отдела бригады, с которой мы постоянно держали связь и от которой получали боевые задания. Ординарец привез вызов командиру. Командир сейчас же подседлался и ускакал с ординарцем в Особый отдел.

Лушка им вслед поглядела и, вижу, забеспокоилась. Вернулась в избу, пошепталась о чем-то с мужем, и тот пошел запрягать.

Партизаны спрашивают:

— Куда собрались?

Они говорят:

— В гости по соседству (забыла, какую они тогда из соседних деревень называли).

К вечеру прискакал из бригады командир и спрашивает:

— Лушка здесь?

Ему отвечают:

— Нет Лушки.

— Как нет? Куда девалась?

— Уехала с мужем в гости.

— В какие гости? Куда?

Ему все рассказали. Он вскинулся как бешеный. Погнал следом за парочкой в соседнюю деревню. Там их не оказалось. Он полетел к фронту, к передовым линиям, верст за пятнадцать, и на полпути встретил возвращавшегося в развалнях нашего завснаба. Оказалось, что он довез Лушку до позиций, а там подговорил свояка какого-то обходом вывести ее за линию фронта. Командир, услышав это, едва не задохся от злости. Лушкиного мужа он тут же арестовал и отправил в Особый отдел.

Серьезных последствий этот случай не имел, но все же переполох получился порядочный. Командир взялся разгонять грусть-тоску партизанскую и укреплять дисциплину. Назначил ученья, сборы. На первое ученье в первом взводе не вышло восемь человек. Командир послал их к фельдшеру. Тот признал пятерых слабыми, а троих совершенно здоровыми. Командир приказал этих троих арестовать. Посадили их в старую баню, приставили часового. Они с часовым договорились и

решили бежать в свою деревню к белым. Достали они как-то и оружие у партизан, даже по три гранаты на человека, но бежать все-таки не бежали — заговорила партизанская совесть. Их выпустили из-под ареста и откомандировали на Мурманский участок фронта. Это было изгнанием из отряда. Изгнанники ушли, но дней через десять пришли на лыжах обратно, и их простили. Отряд к тому времени уже начал активные боевые действия, партизаны подтянулись, дрались хорошо, и все как будто вошло в свою колею.

Так было для всех. Для меня, однако, дело обстояло несколько иначе. Я видела, что случай с Лушкой как-то изменил отношение ко мне командира. Угрюмая неприязнь его к Лушке и настороженность, какие он выказал в самом начале истории, имели свои основания. Как потом выяснилось, Лушка была подослана сквозь фронт белыми, чтобы разведать о нашем отряде и попытаться разложить его. Командир с первой минуты стал следить за Лушкой и в первый же вечер убе-

дился, что с бабой этой не все ладно. Он не спроста ввернул за чаем свой вопрос: „Ты с утра, верно, в походе?“

И когда она брякнула в ответ „с утра“, ему сразу стало ясно, что она врет, так как она уже вскоре после полудня была у нас на передовых позициях, а обход фронта в сорок-пятьдесят верст по снегам и без лыж невозможно проделать так быстро. Все время командир не спускал с Лушки глаз, но не мог ни за что зацепиться, чтобы разоблачить ее. Особый отдел бригады, получивший сведения о проходе Лушки и разведавший все досконально, опередил командира.

Но, в конце концов, это только одна сторона дела. Лушка работала не только как шпионка. Лукавая баба, ловко сыгравшая на сердцах стосковавшихся партизан, растревожившая и взбаламутившая их, была в ней не менее опасна, чем шпионка.

Я видела, что после истории с Лушкой командир ко мне стал еще холодней, суровей, чем прежде. Я была рядовой партизанкой в отряде, ничем особым от

других не отличалась, и ждать от меня чего-нибудь дурного как будто не было никаких оснований. Но он уже не доверял мне, и даже не столько лично мне, сколько моей природе. Он боялся, как бы снова не стала баба бродилом в отряде.

Ах, как мне было это тяжело, как несказанно тяжело! Я ничего не говорила, не объяснялась. Все мне было горько и ясно. Я пошла к командиру и только сказала:

— Откомандировывай, Богданов.

Он понял. Не спросил ни о чем.

— Ладно.

Мы не глядели в глаза друг другу.

Потом я пошла к Сашке. Тут мы вдоволь накричались. Сашка ничего не видел и не слышал, ничего не понимал. Мне не хотелось объясняться. Да я бы и не смогла, верно, все толком объяснить. Мы с Сашкой в первый раз поругались да так разгорячились при этом, что я его едва не застрелила. У меня в то время случались иногда порывы необузданной горячности. Да и горе было сильное, так из меня и плескало.

Кончилось у нас с ним, конечно, миром. Сашка обещал мне помочь устроиться в бригаде. Он даже настолько воодушевился планом устройства моей жизни, что решил сам отвезти меня в бригаду.

И вот, натянула я свою старую юбочку и собралась в дорогу. Партизаны по одному прибрели к саням. Странные это были проводы. Меня будто выгоняли, а лица у всех были ласковые. Это были хорошие товарищи. Это были первые люди, признавшие во мне человека. Горько мне было, но обиды на них я не несла — и даже на командира. Он мне руку под конец пожал и сказал как бы с сожалением:

— Ты прости, коли что не так. Сама видишь — дело оперативное.

Я простила. Я давно простила. И, съездившись, забила в угол саней.

Поездка наша вышла, понятно, не очень-то веселой, хотя в другое время она доставила бы мне большое удовольствие. Ехали мы в широких розвальнях.

Зимник был довольно крепкий и бежал лесной просекой. По сторонам его стояли стеной стремительно прямые сосны. У подножья их стлались снежные перекиды, а вершины, стоявшие на ветру, побелил схваченный морозом иней. Неяркий месяц бежал за стволами рядом с нами и рассыпал по лесу холодные синие искорки. Накатанная колея масляно поблескивала и громко хрустела под полозьями. Подводчик наш что-то тихо выпевал себе под нос. Сани двигались ровно, точно плыли.

Сашка скоро уснул и, ворочаясь во сне, брэнчал своим арсеналом. Я полулежала в санях — с пустой головой, и все мне было немило. Ни кружевные сосны, ни серебряный месяц, никакие другие красоты природы рассеять меня не могли. Тяжело у меня тогда было, очень тяжело на душе.

Сашка так и проспал всю дорогу, но зато, когда приехали в штаб, сразу развил бурную деятельность. Впрочем, из суеты его толку выходило немного. По совести говоря, он и сам не знал,

что со мной делать и куда меня девать.

К счастью, в политотделе дивизии, куда затащил меня Сашка, разыскивая какого-то комиссара, случился редактор фронтовой газеты. Он как раз искал людей в политотделе и, узнав о моем неопределенном положении, тотчас ухватился за меня.

— Дел по горло, — объяснял он торопливо, — а я один как перст во всей редакции, хоть разорвись. Пошли ко мне.

Мне было безразлично, куда идти. Ничего я кругом не знала. Ничего не умела. Словом, „для бедной Тани все были жребии равны“. Я пересела в другие сани и вместе с редактором помчалась навстречу неведомой своей судьбе. Сашка вскочил в свои сани, крикнул мне: „Бога нет, крой дальше, сестренка!“ — и умчался в другую сторону, чтобы свидеться со мной в Ленинграде только четырнадцать лет спустя. В те времена расставались легко и сходились быстро. Редактор, сидевший около меня в санях,

толковал со мной так, будто мы с ним полжизни рядом прожили.

Он был большой голован и отчаянный работяга. Я не знаю, когда он спал и когда ел. Впрочем, на еду времени много ни у кого из нас не уходило. Главной нашей пищей был чай, и пили мы его с редактором, можно сказать, прямо сорокаведерными бочками.

Обязанности мои редакционные были неограничены. Я была и переписчицей, и секретарем, и стряпухой, и вестовым — чем угодно. В общем, и я наплакалась с редакцией, и редактор со мной тоже. Так зверски, как он, никто еще меня не ругивал. Это, впрочем, не мешало нам сердечно друг к другу относиться, и, видя, что я по части грамоты довольно слаба, редактор чуть не на другой день стал со мной заниматься русским языком и арифметикой.

Выходило так, что с моим приходом в редакцию ему, пожалуй, прибавилось, а не убавилось работы. Но он несколько этим не огорчался, наоборот — веселей и деятельней становился.

Из газеты я ушла вскоре в санитарный отряд, но и там недолго оставалась. Проработав месяца полтора санитаркой, я сбежала в строевую часть и, дорвавшись, наконец, до винтовки, так и не расставалась с ней до двадцатого года. Здесь же в части вступила я в партию, и после ликвидации Северного фронта направлена была в Вологодскую совпартшколу. В школе поучилась я недолго и, не окончив ее, перекочевала на писчебумажную фабрику „Сокол“, верст за пятьдесят от Вологды.

Винтовку отложила не я одна. Миллионы бойцов возвращались от фронтовых рубежей к родным домам. И тут уж кому что довелось найти. Один стоял перед обгорелой избой, другой перед могилой жены; у того белогвардейцы скотину увели, у того яблони срубили; там завод сожгли или мост взорвали, или состав под откос пустили. Страна дымилась как пожарище. И вся-то она была изранена, залита кровью, поросла сорняком.

И вот, люди, отвыкшие от труда, отвыкшие от семей, от самих себя, начали

все сначала и все по-новому. Каково им приходилось — знает только тот, кто на собственном горбе все это вынес или хотя бы свидетелем тому был. Многие сгорели в эти годы быстрее, чем на фронте.

Да и как было не работать, когда кругом столько не устроенного, столько несделанного было, да еще половины из этого несделанного мы и отродясь делать не умели. Иголку ведь прежде, и ту из-за границы ввозили. Тут уж, понятно, доставалось и большим и малым — все хлебнули соленого.

Бывало, доберешься до постели часа в три ночи — голова как котел, ноги точно колоды, себя совсем не чувствуешь. И, пожалуй, как сейчас вот подумалось, в самом деле я себя тогда не чувствовала. Я забыла, кто я. Я была вроде паровоза. Мчала вперед, а что и как там во мне самой — я не разбиралась. Все вокруг меня были, пожалуй, в таком же точно состоянии. Это была эпоха самозабвения. Быта почти не было. Он вершился как-то на ходу и между прочим. На ходу и между прочим спали, на ходу

и между прочим ели. Комнаты наши были не прибраны, одевались мы как придется и во что придется. Иногда самые простые обиходные вещи поражали нас как диковинки, настолько мы отвыкли от быта.

Как сейчас помню такую сцену.

За столом, заваленным бумагами, газетами и окурками, стоит отсекр партийного комитета. Против него стоит молодой рабочий. Оба растеряны, но отсекр притом еще зол.

— То есть как это не может? — почти кричит он, угрожающе нависая над столом.

— А уж так, — говорит рабочий, смущенно покашливая. — Приспичило, как на грех...

— Приспичило? — багровеет отсекр. — Как это так приспичило? Что за чепуха?..

— Какая же это чепуха, — обижается рабочий, — коли она рожает.

— Как рожает?

— Как рожает, чудак-человек, — известно, как рожает. Обыкновенно.

— Обыкновенно? — выходит из себя отсекр: — По-твоему это обыкновенно?

А ты скажи мне: кто завтра доклад будет делать на райконференции?

Отсекр возмущен и разгневан. Он оглядывает всех находящихся в комнате, как бы призывая их разделить справедливое его негодование. И мы разделяем. Не знаю, сейчас это все кажется смешным, но тогда — тогда, честное слово, никому из нас не приходило в голову смеяться. Все мы были убеждены, что наша культпропша поступила по-свински, рожая накануне райконференции, — именно поступила. А отсекар, разгневанный донельзя, повернулся ко мне и сказал сурово:

— Придется тебе докладывать о культработе.

Муж позорно провинившейся культпропши, видя, что отсекар отвлекся, потихоньку скрылся. Я пыталась отказываться, но отсекар произнес магическое „в порядке партийной дисциплины“, и я сдаюсь.

Не помню уж подробно, о чем я тогда докладывала, но помню, что после доклада, за кулисами подмостков, с которых

я развивала скороспелые свои тезисы, какой-то незнакомец — высокий и смуглый — сказал мне, дружески улыбаясь:

— Дорогой товарищ, позвольте вам сделать два замечания, Во-первых, вы неприлично красивы для докладчика, во-вторых, вы сделали скверный доклад.

Я оглядела незнакомца с гордым презрением и, бросив на ходу: „Закройтесь, товарищ“, — прошла мимо.

Он посмотрел мне вслед и засмеялся.

В тот же день я увидела его снова.

Председатель объявил:

— Слово имеет товарищ Вашингцев.

Я не обратила на это особого внимания и, помню, продолжала что-то записывать в блокнот. Только услышав голос оратора, я подняла голову.

Это был он.

Выступление его не доставило мне большого удовольствия, так как говорил он, между прочим, не совсем приятные для меня вещи. Во вступительной части я не фигурировала. Речь шла об общих

вопросах хозяйства и культуры, но потом Вашинцев перешел к нашей местной практике, и тут он меня, походя, так оттрепал, что у меня дух захватило и, конечно, не от сознания своей невежественности, а от возмущения.

Я, конечно, выступила после него — формально для фактической справки, а на самом деле просто из задора. Говорила я в тоне довольно высокомерном, сообщила, что „хотя мы в университетах не обучались“ и что хотя доклад должна была делать не я, а другой, а я только „в порядке партийной дисциплины“ и так далее, но все же... Дальше следовало несколько заносчивых и, как я сейчас понимаю, мало убедительных выпадов по адресу Вашинцева, после чего я села на место, убежденная, что враг мой смят и уничтожен.

Кто-то из моих соседей встретил меня довольно ядовитым замечанием. Я оглянулась и увидела, что большинство окружающих меня товарищей не разделяют ни моего торжества, ни моей заносчивости. Вместо того, чтобы с меня сбить

спесь, это, по странному противоречию, удвоило мою упрямую гордость.

В перерыве Вашингцев, оказавшийся вновь назначенным на нашу фабрику директором, подошел ко мне и сказал очень мягко и серьезно:

— Напрасно ты кичишься, товарищ Светлова, тем, что не кончила университета. Это не может составить предмет гордости — и уже ни в коем случае не следует козырять своим невежеством. Это плохо вообще для всякого, а для коммуниста вдвойне. А выступление твое было еще хуже доклада...

И он по пунктам перечислил мне, почему было плохо мое выступление. Он не глядел на меня, говорил негромко и медленно, повторяя иногда по нескольку раз одно и то же, добиваясь всё большей и большей ясности. Это было похоже на урок, но какой-то очень человеческий и необидный. Он как бы с тревогой говорил обо всем этом, и я почувствовала, как что-то дрогнуло во мне и заколебалось. Повидимому, в эту именно минуту всегдашняя моя самоуверенность

дала первую благодетельную трещину. Я смотрела на сухую крепкую щеку Вашинцева, стоявшего ко мне несколько боком, и удивилась его смуглости. Потом я перестала видеть его щеку, и во мне, как внезапная отрыжка, поднялась давешняя гордая самоуверенность.

— Я еще покрою тебя в заключительном слове, товарищ Вашинцев, — сказала я, застегивая свою полумужского покроя курточку из чортовой кожи, и пошла прочь.

К удивлению своему, я не смогла покрыть его в заключительном слове и, как сейчас догадываюсь, по весьма простой причине: Вашинцев был, конечно, кругом прав.

Я не нашла никакого сочувствия у делегатов конференции, и мне пришлось утешаться, уже при возвращении домой, сочувствием случайного попутчика. Это был наш активист Сергачев. Он решительно стал на мою сторону и вообще рекомендовал не очень-то доверять интеллигенции.

Мы с ним дали порядочного крюка

возвращаясь с конференции, и все время держали речь о высокопринципиальных вопросах. Я как-то почувствовала себя тверже, как бы укрепилась в пошатнувшейся своей гордости.

„Толковый товарищ“, — подумала я, прощаясь с Сергачевым и крепко трянуv ему руку.

Вашинцева после конференции я долго не видала, но Сергачева встречала каждодневно. Да его трудно было не встретить. Он был вездесущ и, погоняемый чудовищным количеством нагрузок, носился из одной фабричной организации в другую, с одного заседания на другое. Он всегда спешил. Портфель его был битком набит инструкциями, планами и всякими резолюциями. Он ел на ходу, говорил всегда категорически, в комнате своей не бывал по трое суток, — словом, был для меня образцом самозабвенного работника. Особенное уважение питала я к глубокой его серьезности. О чем бы он ни говорил — о МОПРе, о погоде, о профсоюзных взносах — он всегда был

крайне принципиален, горяч и серьезен. Я была тоже в ту пору крайне серьезна. Мы подолгу и страстно говорили с Сергачевым о будущем, о перспективах восстановления хозяйства, о плане ГОЭЛРО и других проблемах. Никаких личных тем, сколько я помню, мы почти не касались.

Председатель фабкома Фешин постоянно подсмеивался над Сергачевым и звал его почему-то Коммунычем. Предфабрика был невелик ростом и черен, как жук. Глаза у него были темны и блестящи, а губы удивительно яркие и маленькие, почти детские. Он был умница, — это все признавали, — и много сделал для восстановления фабрики, но я его в ту пору плохо понимала. Характер у него был неровный. Он то ходил как грозовая туча, то целые дни посмеивался; иной раз он был кипуч и деятелен, а то вдруг нападет на него тихость.

Однажды я застала его в такую тихую минуту. Было уже поздно, часов восемь, пожалуй. Все уже разошлись. Фешин сидел в фабкоме один, и глаза его обращены

были к окну. За окном лежал фабричный двор — грязный, запущенный, заваленный железным ломом, мусором, всякой дрянью. Лицо Фешина, созерцавшего эту неприятную картину, было задумчиво, даже грустно. Он не оглянулся, когда я вошла, но, видимо, знал, что это я вошла, потому что сказал, не меняя позы:

— Вот, Светлова, представь себе вместо этой свалки фабрику-сад. Цветы на фабричном дворе, цветы в цехах, цветы у предфабкома на столе, и у активистки, входящей в фабком, в петлице тоже цветы. А? Как это тебе нравится?

Я посмотрела на Фешина, как на лунатика.

— Мне это не нравится, — сказала я сухо, — цветам не место на фабрике. И вообще ты определенно барахлишь.

— Как? — переспросил Фешин. — Как ты сказала? — Потом повернулся ко мне, и лицо его стало серым. — Да, да... Может быть. Ну, что там у тебя?

Он придвинулся к столу. Я подсунула ему на подпись какую-то бумажку или план, не помню уж, — кажется, план меро-

приятый по смычке с деревней. Он прочел план очень внимательно, потом поднял голову и вздохнул, будто увидев вдруг что-то поразившее его и необычное. Так как глаза его были обращены ко мне, то я поняла, что именно во мне и было то, что его поразило.

— Ты что? — спросила я, несколько смутясь, как человек, вышедший на людную улицу с каким-то непорядком в костюме и только что заметивший это.

Фешин, казалось, не слышал вопроса. Глаза его стали опять такими же, какими были тогда, когда он глядел в окно и говорил о цветах. Он улыбнулся детскими своими губами, точно персик на лице его раскололся.

— Какие у тебя волосы замечательные, — сказал Фешин почти молитвенно.

Тут меня взорвало.

— Товарищ Фешин, — оборвала я сурово, — утверждай план и не треплись.

— Ну-ну, — сказал Фешин, почесывая в смущении переносицу, — в самом деле, ты еще чорт знает что подумашь. Давай-давай, утверждаю. Что еще у тебя?

Он подписал мой план. Я сунула его в свой замызганный парусиновый портфельчик и, повернувшись, пошла к выходу. Когда я дошла до двери, он окликнул меня. Я обернулась. Он вскочил из-за стола и готов был, кажется, перемахнуть через него к двери, возле которой я стояла. Я глядела на него во все глаза.

— Слушай, Светлова!—сказал он дрогнувшим голосом.—Если ты подумаешь чорт знает что, то ты не ошибешься. Даю тебе слово.

Он хлопнул маленькой крепкой ладонью по столу. Я выбежала из фабкома.

Это было признание. Глаза его сияли. Он любил меня. Я была возмущена до глубины души. Путь мой лежал в столовку, где назначено было собрание актива по смычке. Сергачев был, конечно, здесь и, конечно, выступал с пространной и серьезной речью. Он показался мне большим, умным и расчетливым.

После собрания мы пошли вместе домой, так как жили почти рядом, и я обрела утраченное после сцены в фабкоме равновесие.

Но когда после двухчасового и чрезвычайно возвышенного разговора с Сергачевым я вернулась домой и распустила волосы — все спокойствие мое снова пошло прахом.

Я сидела на кровати и терзалась противоречиями. Меня окутывала густая волна волос. Мне было приятно ощущать их на спине, на плечах, трогать их, видеть их. Я любила свои волосы. Я не могла решиться остричь их, хотя в тогдашних бытовых условиях они причиняли мне много неудобств и хлопот. Мне было всегда приятно, когда хвалили их, и теперь, сидя на кровати и перебирая их как бы задумавшимися руками, я вспомнила с удовольствием то, что сказал о них Фешин. Но тут же я и разозлилась вдруг, и надо было знать меня такой, какой я была тогда, чтобы понять причину этой злобы. Превосходство мужчины в чем бы то ни было оскорбляло меня. То, что глядело на меня из сияющих глаз Фешина, напоминало мне о моих „бабьих“ качествах и как бы возвращало меня вспять. Похвала Фешина моим

волосам была нападением врага. Я злилась весь вечер и весь следующий день. Потом я пришла в ярость.

Я проклинала Фешина за то, что ему вздумалось похвалить мои волосы.

Зачем он это сделал? Я ненавидела его и, ненавидя, проникала в его мысли и сердце с такой же обостренностью, как любящие. Я видела, что из этих черных грустных глаз излучается любовь... И я... я пошла и остригла мои прекрасные волосы.

Голова после стрижки сразу стала странно легкой. Мальчишески оголенный затылок колело, как иголочками. От затылка по всему телу бежал возбуждающий холодок, и оттого движения и, казалось, самые мысли становились легкими, свободными и независимыми. Отдавшись этому приятному и новому для меня ощущению, я уже не жалела о чудной своей косе и прямо из парикмахерской побежала к Фешину, хотя у меня и не было к нему никакого дела.

Я столкнулась с ним на пороге фабкома. Он куда-то мчался, таща за собой высо-

кого бородача и о чем-то с ним споря на ходу. Увидев меня, он вдруг осекся на полуслове и остановился. Повидимому, его внимание было привлечено тем новым, что придала моему лицу, вообще голове, стрижка. Но мысли его были, верно, рассеяны, новую мою прическу скрывала головная повязка, да к тому же и бородач был нетерпелив. Он толкнул предфабкома под локоть. Фешин вздрогнул и, сорвавшись с места, помчался прочь, так и не разглядев, что я стриженная.

Назавтра я нарочно зашла к нему без повязки. Он сразу увидел мою стриженую голову, но сперва ничего не сказал. В фабкоме было много народу. Потолкавшись полчаса между стоявшими в комнате семью столами, я подошла к Фешину с каким-то делом. Он нахмурился и слушал, опустив голову и постукивая карандашом по столу. Потом внезапно поднял на меня свои глаза-угольки и громко выпалил:

— Зачем ты остриглась, Светлова? Такую голову испортила!..

В голосе его звучало искреннее отчая-

ние. Все бывшие в комнате рассмеялись. Но ему, я знаю, было не смешно. А через три дня он, встретив меня по дороге в столовку, остановил и сказал восторженно:

— Знаешь, ты еще красивей стала стриженная, честное слово.

В тот же день я встретила Вашингцева.

— Эмансипация завершена?— спросил он, с веселым равнодушием кивнув на мою голову.

— Что? Что?— переспросила я, не понимая мудреного слова.

— Стрижка-брижка,— подразнил он меня, как дразнят ребят, и пошел своей дорогой.

С минуту я глядела ему вслед, потом сорвалась с места и догнала его. Я почувствовала к нему внезапную приязнь. Мне стало весело и легко от его „стрижки-брижки“.

— Слушай, Вашингцев,— сказала я решительно,— я тогда зашилась, конечно, с докладом. В общем... ты правильно крыл.

Вашинцев поглядел на меня как-то

искоса. Веселое добродушие его разом пропало.

— Да-да, — сказал он торопливо. — Вероятно, я не во всем прав. Но я рад. . . Рад, что ты признала.

Он был смущен, и это не шло ни к крупной его фигуре, ни к той решительности его высказываний, какую я за ним знала. Вообще я ничего не поняла в его смущении и ушла, поджав губы и гордясь великодушным признанием перед ним своей ошибки.

Вечером я рассказала о происшедшем Сергачеву. Он меня порицал за признание. Он говорил, что я права и напрасно сдалась и признала себя побежденной. Я снисходительно позволяла себя упрекать, будучи довольна и тем, что признала свою неправоту, и тем, что меня за это бранят.

Что касается стрижи, то Сергачев весьма одобрил это мероприятие, и, отталкиваясь от него, мы впервые соскользнули с ним на разговор о женщине и об отношении полов. В этом вопросе Сергачев был так же стремительно-орто-

доксален, как и в других. Нашлись и соответствующие цитаты. Они вошли, понятно, в нашу беседу, как и все наши беседы — очень серьезную и принципиальную. Прощаясь, он, греша против этой принципиальной суровости, задержал мою руку в своей, но тотчас, впрочем, опомнился и, решительно нахлобучив на нос кепку, мрачно, но твердо зашагал к дому.

С этого дня отношения ко мне Сергачева заметно изменились. Беседы стали длительней и чаще. Каждый вечер он „совершенно случайно“ оказывался моим спутником „до дому“ и частенько заходил и в дом. Заметно было, что с каждым днем он все более мрачнел, и причина этой мрачности выяснилась довольно скоро. В один прекрасный день Сергачев признался мне, что его „мучит половой вопрос“. Повидимому, это следовало почитать объяснением в любви, так же как и последующие рассуждения о том, что в „этих“ вопросах надо открыто и „почестному“ признаваться друг другу, что удовлетворение половых потребностей

вещь естественная и ничего худого тут нет, что можно, конечно, и в загс слетать, но, вообще-то говоря, это неважно, а главное, чтобы все честно сказать и быть хорошими товарищами.

Я была загипнотизирована этими рассуждениями о прямоте и товариществе. Я полагала тогда, что это и есть единственная основа личных отношений. Так рассуждая о товариществе, я сошлась с Сергачевым, ничего, кроме этого товарищества, не чувствуя и не видя. Сейчас все это кажется мне совершенно непонятным, но тогда я сделала этот шаг с той же твердостью, с какой все делала. Я была горда. Я попирала биологию ее же средствами.

Год, который я прожила с Сергачевым, прошел как и все остальные и не был отмечен ничем особым. Между делом мы слетали в загс, но в общем отношения наши мало за этот год изменились, так же как и образ жизни. Мы попрежнему работали, попрежнему жили по своим комнатам.

Мало изменились мои отношения и с

другими. Только Фешин погрузнел и стал как-то осторожен со мной, точно с больной.

С Вашинцевым у меня складывались довольно странные отношения. Это был единственный человек, с которым я выходила из состояния своей деревянной уверенности. Все наши разговоры кончались обычно перебранкой и ссорой. Иногда я ненавидела его, чаще презирала и почти всегда подчинялась ему. Это подчинение — внутреннее и невольное — и было мне всего невыносимей.

Со мной случилось то, что должно было случиться, — я забеременела. Это было совершенно естественно и... совершенно неожиданно, потому что об этом мы с Сергачевым как-то вовсе не думали...

Я сказала Сергачеву о случившемся. Разговор вышел равнодушный, торопливый и категорический. Сергачев решил, что пеленки — это мещанство, что все это помеха работе и никак не совместимо с раскрепощением. Я с ним тотчас согласилась и пошла в амбулаторию, где

мне без дальних разговоров дали направление в одну из вологодских больниц.

Весь день у меня вышел какой-то неловкий. Вечером я рано ушла домой, пренебрегая важным собранием профсоюзного актива. Было грустно. Отчего — я сама не знала. Ведь я ни о чем не жалела. Все было решено моей доброй волей в согласии с моими воззрениями. Отчего же все-таки мне было грустно? Отчего я сидела пригорюнясь у окна? Отчего хотелось мне, чтобы пришел Сергачев и сказал что-нибудь ласковое?

Спустя некоторое время он в самом деле забежал, но лишь затем, чтобы взять забытую на моем столе какую-то сводку и вновь умчаться на собрание актива, даже не заметив моего состояния. Это, пожалуй, было и к лучшему. Ласки его я уже не хотела. Мне все еще было грустно. Я подошла к окну. Мимо прошел, куда-то спеша, Ващинцев. Я распахнула окно и позвала его. Он улыбнулся, потом озабоченно потер лоб, потом махнул рукой на прежний свой путь и зашел ко мне.

Этому ничего не надо было объяснять, и ласки у него можно было не просить. Он понимал все с полуслова, с полувзгляда. Он сразу увидел, почуял, что сегодня мне не по себе, что мне тоскливо, тяжело, одиноко.

Те ласковые слова, которых я не дождалась от Сергачева, сказал Вашингцев. Он был заботлив, согрел чай, что-то делал в комнате, потихоньку смеялся, потом взгрустнул, сел со мной рядом к окну и долго молчал. Потом долго говорил — не помню уж, о чем, но помню, что очень мягко, сердечно, — и я понемногу отошла. Мне стало легко, стало почти весело. Тяжести, давившей меня весь вечер, как бы и вовсе не было. Едва улегшись в постель, я заснула как убитая, а наутро с обычной своей деловитостью собралась и укатила в Вологду.

Попасть в больницу оказалось гораздо легче, чем из нее выбраться.

Операция не совсем удалась. Пошли осложнения, и в результате я провалялась в больнице более месяца.

Первые дни моей невольной лежки я изнывала от безделья и все порывалась встать. Мне хотелось немедленно бежать отсюда, вернуться назад, к оставленным товарищам, — вернуться, пока меня не забыли, пока не остыла работа, пока сама я не остыла. Когда выяснилось, что я должна задержаться в больнице, я стала надоедать врачам и требовать выписки.

— Эх у вас завод какой, — посмеивался врач, заведывавший нашим отделением, видимо, вовсе не собиравшийся меня выписывать.

К концу второй недели завод у меня вдруг вышел, и я ощутила резкую жизненную остановку.

Сначала я даже испугалась немножко этой внезапной перемены, но прошел день-другой, и я привыкла к ощущению тягучей пустоты дня. Потом я вдруг стала страстно ждать посетителей, хотя и знала, что навещать меня некому.

В самом деле, кто мог ко мне прийти? Сергачев? Но, во-первых, я знала, как он занят, а во-вторых, вообще предполагалось, что я пробуду в Вологде дня

три-четыре, и о проведывании меня и речи у нас не было. И все же я ждала его с каждым днем все нетерпеливей, пока ожидание это не перешло в лихорадку, а потом в упрямую злость.

„Неужели он такой свинья? — говорила я себе. — Неужели не придет проведать? От фабрики всего пятьдесят верст. Долго ли тут? Разве нельзя урвать полдня, хотя бы в воскресенье?“

Так проходил час, два, день, пока, собравшись с силами, я не начинала стыдить себя... Разве я не знаю, как он загружен? И, наконец, разве все это так уж обязательно? Чего ради человеку бросать все дела и неведомо зачем тащиться за пятьдесят верст... И вообще каждый должен делать свое дело, и нечего тут разводиться антимионии и отрывать людей от работы.

Доводы были очень разумны, но если б вопреки всем этим доводам Сергачев появился вдруг в больнице, я бы, кажется, сорвалась с постели и вприпрыжку побежала бы ему навстречу.

Только в начале третьей недели поя-

вился, наконец, посетитель. Он вошел в палату и остановился, оглядываясь по сторонам. Видно было, что он чувствует себя в незнакомой обстановке неловко. Он нерешительно потаптывался на месте, пока проходившая мимо сестра не ткнула пальцем в мою сторону. Тогда он повернулся ко мне, и ему уже не надо было проводника, — его вели мои глаза, следившие за ним неотрывно. Я забыла обо всем. Я лежала притихшая, радостная, успокоенная.

Он шел улыбаясь. В руках у него был букетик левкоев. Я приняла их, как королева.

Он стоял у кровати и смотрел в мое лицо.

— Садись, товарищ Вашинцев, — сказала я, указывая глазами на стоявшую возле кровати табуретку.

Он сел на краешек — большой и неловкий. Девять женщин смотрели ему в спину с любопытством и недоброжелательством. Здесь не любили мужчин.

От него пахло табаком и еще чем-то грубоватым и приятным. Моя кровать

стояла у стены в углу. Я одна видела его лицо.

— Ну, как дела? — спросил он, с беспокойством меня оглядывая.

— Ничего. Как на фабрике?

Он рассказал, как на фабрике. Я слушала вяло. Это удивило меня самое. Он заметил это и стал рассказывать о Сергачеве. Он говорил повышенно веселым тоном о всех делах активиста Сергачева, он хвалил его деловитость.

— Оставь! — сказала я. — Неинтересно.

Он замолк. Я тяжело вздохнула. В уголках глаз у меня дрожали слезы. Нервы... Оказывается, у меня тоже были нервы. Но я не заплакала. Вашинцев сказал неожиданно с упреком:

— Ты такая цветущая, здоровая... Зачем ты это сделала?

Я посмотрела на него с удивлением. „Меццанство... Пеленки... Работа... Стройка“ — все доводы Сергачева дрожали у меня на кончике языка, но я не раскрыла рта, чтобы их произнести. Я не успела произнести их в первую минуту, а во вторую... во вторую мне уже не

хотелось произносить их — они показались мне неубедительными. Он ушел, оставив какой-то пакет и пообещав прийти завтра.

Я осталась лежать тихая, какая-то пришибленная. За окном над постелью проступали уже сумерки. Я смотрела в окно. И вдруг мне привиделось другое окно. Я смотрю в него... за ним бескрайное поле... Я в избе. Я хочу уйти из душной избы в это бескрайное поле, я хочу взять на руки моего маленького и уйти... И тогда свекровь говорит мне: „Мертвенький он“...

...Мертвенький... Тот, первый — мертвенький, а этого, второго, я сама убила... „Зачем ты это сделала?“

В самом деле — зачем?

Впрочем, что об этом думать! Это решено, и решено правильно, и все это делают. Вот передо мной лежат еще девять, а за ними еще сотни, тысячи, миллионы... Довольно этого родильного рабства, этих вяжущих по рукам и ногам свивальников или как их там... Теперь-то мы поумнели!..

Так я лежала, твердя свои заклинания,

свой заученный урок. Потом у меня снова заняло сердце. Я глядела в окно, и к глазам подступали слезы. От больничного столика все еще исходил запах табака и левкоев. Мне стало приятно. Я закрыла глаза. Потом снова открыла их и разъярилась. „Ему хорошо говорить“, — думала я со злобой, и злоба эта держалась до самого его прихода. Он пришел на следующий день после полудня. Я услышала его шаги, когда он был еще в коридоре, и узнала их.

Он был весел и опять принес цветы. Я бросила их к ногам на одеяло. Он повел бровью, но ничего не сказал.

— Что это — тебе делать больше нечего, Вашингцев, как сюда ходить? — спросила я, глядя на него в упор.

Он вздрогнул. Потом рассмеялся.

— Вот злющая. Постой, вот я тебя на цепь посажу, чтобы на людей не броса-лась.

— Уже посадили, спасибо; положили даже.

— Ну-ну, — сказал он примирительно. — Ничего. Отдохнешь хоть немного. Это,

брат, тоже не мешает. Ты читала „Тартарена“?

Он явно хотел развлечь меня и заговорил об оставленных вчера книгах. Кстати, в пакете, кроме книг, я нашла масло, сахар и печенье. Сегодня он снова был с пакетом. Я выбранила его и запретила всякие приношения. Он смутился и сказал, что это от фабрики мне, а не от него лично, и продолжал носить. Я видела, что он говорил неправду. Принесенных им книг я в первый день не трогала. Это была беллетристика, а я ничего не читала, кроме политических брошюр. Вашингев меня бранил за это, я огрызалась, но, когда он ушел, взялась за „Тартарена из Тараскона“. Я прочла страниц тридцать и бросила. Все, что делалось в книге, было мне совершенно чуждым. Я не понимала этого. Не понимала не потому, что мудрены были слова или фразы, а потому, что все происходящее казалось совершенной нелепицей. Все эти суетливые обитатели незнаемого Тараскона, все эти буржуйчики и врали,— какое мне было до них

дело? Никакого. Я с недоумением отложила книгу и закрыла ее, уверившись, что хорошо делала, не читая до сих пор никаких романов.

Я сказала об этом Вашинцеву. Он смолчал, забрал „Тартарена“ и принес „Мать“ Горького. Я прочла ее. Он принес мне „Овод“ Войнич, „Хижину дяди Тома“, Степняка-Кравчинского, Льва Толстого.

Пока Вашинцев был в Вологде, он заходил в больницу каждый день.

— Ну, бывай здорова, Светлова, — сказал он, уходя от меня в день отъезда. — Дела мои здесь закончены. Сегодня — назад на фабрику.

— Давно пора, — сказала я хмуро.

Он смутился и засмеялся.

— Уж и пора!

Мы попрощались. Он уезжал, явно смущенный моими злыми проводами. А я и сама не знаю, почему была зла. Я отвернулась к стене. Шаги его затихали. Вся злость из меня вдруг вылетела, как воздух из лопнувшего воздушного шарика. Мне хотелось крикнуть вслед

Вашинцеву, чтобы он не уезжал, чтобы вернулся...

Я не крикнула.

Я много передумала в больнице, порядочно прочитала. Книги открыли мне новый мир, о существовании которого я не подозревала. На меня нахлынули новые ощущения, новые мысли. Я увидела вдруг, что мир сложен и разнообразен и что я ничего не знаю об этой сложности и этом разнообразии.

Как-то доктор, увидев на моем столике раскрытую книгу, глянул на нее и заговорил о ней со мной. Доктор был молод, говорил с живостью. Я увидела, что за всякой профессией скрывается человек и у этого человека существуют многочисленные интересы помимо его работы. Это было открытие, и таких открытий я делала по десятку на дню. Словом, положительно иногда не вредно поболеть.

Много думала я о Вашинцеве и о Сергачеве — и тут, конечно, тоже не обошлось без открытий, большей частью насчет Вашинцева. Я не могла понять его так,

как Сергачева, — всего до конца. Он был неясен, я не любила неясности. Я не знала еще полутонов.

Вашинцев как-то сказал мне:

— Ты пока еще целыми числами орудуешь. Постой, вот до дробей дойдешь...

Я не знала, что будет, когда я дойду „до дробей“, но я начинала понимать, что я пока оперирую только „целыми числами“, какими-то неделимыми и неуклюжими понятиями.

На тридцатый день пришел Вашинцев и принес опять гору книг. Было в нем в этот день что-то особое, какой-то налет грусти, какая-то рассеянность.

— Ну, прощай, — сказал он, подымаясь, чтобы уйти. — Может быть и не увидимся больше.

Он протянул большую широкую руку. Я вложила в нее свою и подняла глаза.

— Почему не увидимся?

Он провел левой рукой по волосам.

— В Петроград на Печаткинскую фабрику перебрасывают.

У меня дрогнула рука.

— Я скучать буду, Вашингцев.

— Ну?

— Честное слово.

Он как-то странно усмехнулся.

— Есть верное средство против скуки.

— Какое?

— В Петроград учиться ехать.

— А-а...

Он глядел мне в лицо. Мы все еще не разнимали рук. И вдруг он нагнулся и поцеловал мне руку. Я опешила. Я слышала, что существует такой обычай, но для меня в этом было что-то неприятное, фальшивое. Я покраснела до ушей и неловко вырвала от него свою руку.

— Будь счастлива.

Он повернулся и хотел уйти, потом остановился.

— А ведь я не верю в это „прощай“, — сказал он чуть хрипло и, махнув рукой, почти выбежал вон. Я глянула на свою руку и спрятала ее под одеяло.

— Видный мужчина, — сказала соседка по койке, провожая Вашингцева глазами. — А в общем — все они сволочи порядоч-

ные. Сперва милая-размилая, а потом давай бог ноги.

— Он здесь совершенно не при чем, — сказала я, вспыхнув.

— Все они не при чем, — проворчала соседка и повернулась ко мне спиной.

На сорок первый день я выписалась из больницы и вернулась на фабрику. За эти сорок дней здесь многое изменилось. Не было Вашинцева, перебросили куда-то Фешина. С Сергачевым встреча вышла какая-то странная. Дома я его, конечно, не застала, на фабрике он тоже не сразу отыскался. По совести говоря, я не очень-то и разыскивала его, и встретились мы с ним в завкоме совершенно случайно.

— А, наконец-то, — обрадовался он, увидев меня. — Выздоровела совсем, значит? Ну вот, молодец!

Он схватил мою руку, сильно ее встряхнул, хотел, видимо, сказать что-то приветливое, но вместо того озабоченно поскреб небритую щеку и торопливо заговорил:

— А у нас запарка, понимаешь, форменная. Придется тебя в работу взять. Как раз тридцатого числа совещание по рабкрину. Это толково, что ты вернулась. Я тебе объясню...

Он не успел ничего объяснить. Кто-то дергал его за рукав и совал в руки какие-то брошюры, потом его позвали к телефону, потом в партком. Он кинул на ходу: „Ты понимаешь, я на минутку, в общем — вечером увидимся“, — и исчез.

Вечером он пришел ко мне, неся с собой туго набитый портфель и какую-то особую, неотделимую от него, атмосферу деловитой озабоченности. Весь вечер он рассказывал о фабричных происшествиях, какие произошли за время моего отсутствия, о всех конференциях и совещаниях. Я слушала невнимательно. Я все не могла отделаться от мысли (и от ощущения), что передо мной чужой, совершенно чужой человек. Эта мысль поразила меня утром на фабрике и преследовала весь день. Он сидел на стуле посреди комнаты и говорил, он вскакивал и ходил по комнате, — я тайком разглядывала его,

следила за каждым его движением. Все в нем было для меня ново — голос, жесты, интонации — я будто впервые увидела его, и, кроме любопытства (и то довольно вялого), во мне ничего не было. Его домашний вид, его хлопоты с чайником, повешенный на стул пиджак — все это не имело той интимной прелести, какая существует в этих простых вещах, когда перед тобой человек, который дорог тебе.

Он не был дорог мне — это я видела. Когда он захотел остаться, я сказала, что устала за день, что еще нездорова. У него вытянулось лицо, но он поспешил согласиться.

— Да-да, понятно. Отдыхай, отдыхай. Потом подхватил портфель и ушел. Я легла в постель разбитая, вялая, и не от того, что была нездорова. Я легла Сергачеву. Я просто не могла остаться с ним. Одна мысль об этом была мне неприятна.

На следующий день я уже с утра носилась по фабрике. Работы было уйма, и через два часа я забыла, что была в отлучке целых полтора месяца. Однако

под вечер я едва не свалилась с ног и часов в шесть ушла домой.

К удивлению моему, через час пришел Сергачев. Так рано он почти никогда не освобождался. Что-то в нем было не совсем обычное, но что — я понять не могла, пока он не попытался обнять меня. Я вздрогнула и отстранилась. Мне вдруг стало противно и тяжело.

— Давай оставим это дело, — сказала я довольно резко.

— То есть как — оставим? — спросил он, не понимая моего движения. — Ты что? Нездорова?

— Нет, я здорова. Я и вчера была здорова.

— А-а, — протянул он, начиная, казалось, понимать.

Я отошла к окну.

Он стоял, не двигаясь, в глубине комнаты. Я чувствовала его у себя за спиной. Он молчал, долго молчал. Потом вдруг сказал тихо:

— Это что? Вашинцев? Да?

Я повернулась, как на пружине.

— Что, что?

Я смотрела на него во все глаза. Впервые он поразил меня.

— Ты что? Ревнуешь? Ты?

Он смутился.

— Ни черта я не ревную. И вообще все это какая-то чепуха. Постольку, поскольку мы записались, то я являюсь мужем...

В голосе его зазвучали злые нотки. Я засмеялась.

— Ты, может, прибьешь меня... муж?

Он глянул в мою сторону и опустил глаза. Вид у меня, должно быть, был достаточно решительный. Он хотел что-то сказать, но поперхнулся. Он был смущен, растерян, и я вдруг увидела, что у него измученный вид, что он бледен и худ, что щеки его ввалились и у ворота нехватает двух пуговиц, что носки его черны от пыли, так же как и сандалии.

Мне стало жаль его.

Он ушел. Я провожала его глазами. Я говорила себе, что он заработался, что ему бы давно пора отдохнуть, что, в сущности говоря, он славный парень,

преданный своему делу, отдающий ему все свое время, все свои силы. Все это было так, но все это думала как бы не я, а кто-то другой во мне. Все это ясно сознавалось, но не задевало... По улице мимо моих окон шел чужой, совсем чужой человек. Я уже перешагнула через него. Я шла дальше.

Возвратясь на фабрику, я тотчас же принялась за прежние свои фабричные дела и почти тотчас же почувствовала, что они не клеятся почему-то. Я ли отвыкла от фабрики, фабрика ли от меня, или еще что-то случилось, но только ни спорости прежней, ни ладу в моей работе не было. То с доклада у меня утекает народ, то сама на директорском докладе глазами хлопаю, то в беседчики по съездовским материалам вовсе не попадаю. Один за другим пошли конфузы. Однажды минут двадцать говорила я на собрании о реконструкции фабрики, а когда меня спросили, что такое реконструкция, я так и не смогла ответить толком.

Надо мной тогда посмеялись, и частенько потом кликали Реконструкцией. Случай был, в сущности-то говоря, мелкий, но такие мелкие случаи копились, как невидимые капли в туче, и в конце концов разразилась гроза — в один прекрасный день меня послали на производство.

Перевод на производство, после того как человека выдвигали на организационную работу, означал, обычно, что с порученной работой человек не справился. Лично для меня это было двойным наказанием, так как я не знала, собственно говоря, никакого производства. На фабрику я пришла прямо с фронта, с большим запалом, но без всякого умения, без всяких рабочих навыков. На какой-то период запала этого хватило на замену знаний, но затем наступила катастрофа.

Да! Для меня это была катастрофа, хотя вначале я видела в этом не катастрофу, а только оскорбление.

Я побежала в партком.

— Вы что же это? — напустилась я на заведующего орготделом. — Что же это вы делаете?

— А-а, Реконструкция заявила, — усмехнулся Заvorg.

Я вскипела и резко оборвала его шуточный тон.

Заvorg стал серьезен, но улыбка еще гнездилась в уголках глаз. Это был человек больших уже лет, питерец, рабочий Лесснеровского завода, застрявший на Севере с девятнадцатого года, когда прислан был на фронт с 3-м Петроградским полком.

Между нами произошло крупное объяснение. Я стучала по столу, требовала чего-то, а чего — пожалуй, и сама не знала. Заvorg сидел против меня насупясь, дал мне выкричаться, выкипеть, потом исподволь и потихоньку стал, что называется, вразумлять меня.

— Ты пойми, Светлова, — говорил он, бережно поглаживая меня по плечу. — Так по столу стучать не хитро. Я знаю, что ты, что называется, кровь проливала, что баба ты лихая, да ведь сейчас не о том речь. Что было — то прошло, а вчерашними победами нам трудностей сегодняшних не решить. Нам

надо другой бой принимать и целиться, брат, не на вчера, а на завтра. Вчерашнего-то ума, вчерашних знаний нам с тобой на завтра, смотри, маловато будет, да уже и на сегодня маловато, если по совести говорить. Ты погляди на себя — так — по-честному, по-коммунистическому: хватает тебя на хорошую сегодняшнюю работу? Нет, Светлова, нехватает. Кишка тонковата стала. А почему? Почему, я тебя спрашиваю?..

Он глядел на меня из-под насупленных густых бровей строгими серыми глазами и долго объяснял, почему нехватает меня на хорошую сегодняшнюю работу. Я спорила с пеной у рта, я ругалась, я обзывала заворга „заевшейся бюрократией“ и еще как-то, не помню уж как. Словом, „вразумить“ меня заворгу не удалось. Но одну горькую и вполне осознанную истину я унесла из парткома. Мне с цифрами и фактами в руках доказали, что работала я последние месяцы плохо. Это было достаточно убедительно, и у меня хватило духу не пытаться уходить от фактов и не извращать их в свою пользу.

Я много и горько думала над этим, вернувшись домой. Ночь почти не спала. И мало-помалу положение мое стало для меня ясным. Я отставала. Я стояла на месте, в то время как окружающие шли вперед. Уровень хорошего в прошлогодней работе стал плохим уровнем сегодняшней. Я держалась на этом уровне — и я съехала назад. Такова наша эпоха: стоять на месте — значит идти назад.

„...Вчерашнего-то ума, вчерашних знаний нам с тобой на завтра, смотри, маловато будет...“

Я больше не спорила. Я даже не пошла объясняться по поводу того, что меня „вернули“ на производство, на котором я никогда не была. Я полагала, что если это и ошибка, то указующая. Пусть так и будет. Я буду работать самую простую работу.

Я закусила губу и принялась за работу с остервенением. Мной двигало сложное чувство уязвленной гордости, заглушенного отчаяния и трезвого напора. Заворг часто навещал меня в цеху и говорил:

— Молодчик, Светлова! Напирай, напирай! Гляди — за тобой другие пойдут.

Я не представляла себе, как за мной пойдут другие, но очень скоро познакомилась с теми, кто не только не шел, но и не хотел идти за мной.

Как-то подошел ко мне вѣдливый один старичок и сказал со злой ехидцей:

— Гони, гони, Светлова, а потом, гляди, всем нам расценки и снизят.

— Контра! — вскипел случившийся тут же каландровщик Коля Жихарев. — Контра беспросветная! Ты ж в темной бутылке сидишь! Ты ж чужим голосом поешь!

Они сцепились и подняли крик на весь цех. Потом, когда старичок ушел, Жихарев присел ко мне и спросил таинственно:

— Ты партейная?

— Да.

— Во! — обрадовался Жихарев. — Я тут смекаю то же самое, что надо на чистую воду дело выводить, а только как я беспартейный, то меня тюкали... Дело, понимаешь, такое...

Дело было такое, что сейчас мы на-

звали бы заниженными нормами. Работала фабрика плохо и бумаги давала мало, между тем возможности дать больше бумаги были. Много еще оставалось в работе косного, неподвижного, устаревшего. Много еще было старичков, которые держали про себя производственные секреты, держали бумажные машины на малых скоростях, давая в два раза меньше выработки, чем можно было дать, боясь показать высокие нормы. Молодежь они ревновали к работе, а к бумажным машинам — этому становому хребту фабрики — и вовсе не подпускали, безраздельно хозяйствуя на основном и главнейшем участке производства.

Все это, как и многое другое, что к этому относилось, пересказал мне Коля Жихарев, припрыгивая от горячности и возмущения, и все это было позже не однажды предметом наших с ним долгих разговоров и жарких диспутов. Вообще Коля Жихарев оказался чудным парнем, и мы с ним очень подружились. Он же мне внушил и передал свою неумную страсть к книгам, утверждая, что без

науки мы с ним „как в темной бутылке“ (это любимая его поговорочка была) и что „ум надо нам на весь мир развивать“.

Когда я уезжала с фабрики, Коля Жихарев подарил мне на прощанье „Сорочинскую ярмарку“, которая была его любимой книгой, и трагедию „Смерть Дантона“, в которой он мало что понял, а потому считал ее книгой чрезвычайно умной.

Эти книги и посеи́час у меня.

Вернулся Федя из экспедиции — и весь какой-то новый. Он сильно похудел но худоба у него хорошая, здоровая, мужская. Просто согнало городской жирок — стало лучше. Вообще он разом возмужал, будто через какую-то черту переступил. Лицо тоже изменилось, стало костистей, очертилось резче и сильно обветрилось, покраснело. Я знала, какими ветрами ожгло это лицо, да не только я, весь Советский союз знал это. Все газеты писали в те дни о Феде. Он был с ледоколом где-то около Охотска, когда вдруг пришло известие, что два наших лучших

летчика, совершавшие дальний перелет, вынуждены были сесть в тайге и потеряться. Их сейчас же пошли искать. Искали самолеты, искали шестнадцать наземных партий, а нашел наш Федя, отправившийся в глубь тайги вместе с партией матросов ледокола. Он не был новичком в тайге, участвовал в нескольких таежных экспедициях, а однажды прошатался с геологоразведочной партией что-то около года. Он и нашел летчиков, сам чуть не погиб в пурге, но спас их. А если б еще сутки не нашел, летчики погибли бы. Они бродили по тайге уже три недели, и нашел их Федя полумертвыми, полузамерзшими. Но их отходили, и они снова летают, а Феде дали орден. Вот он какой, Федя-то!

Я прочла о награждении как раз в тот день, когда Федя вернулся, и у меня еще газета была в руках, когда он вошел в прихожую. Я взмахнула газетой, она надулась, как парус, и я понеслась прямо к Феде в объятия. Мы поцеловались. Шурка и Маришка прыгали, визжа, вокруг нас, но Федя, кажется, не заметил их.

Я видела совсем близко его глаза. В них была любовь, и в них была ярость. Он видел все,— я знаю, что он сразу увидел все. Может быть он бродил в тайге и думал о том, как войдет в этот дом и каков будет ответ на это его письмо-портрет, оставленное перед отъездом. И он сразу увидел ответ. Я ничего не сказала, но женщина умеет сказать и „нет“ и „да“, ничего не говоря, поверьте, а мужчина это всегда поймет. Тут и дурачок умен, а Федя не дурачок, тем более что случился этот поцелуй. Он-то, я думаю, и совсем объяснил все, такой он был искренне-бесстрастный, бытовой. Это было больше чем „нет“... И Федя пришел в ярость...

Он схватил Шурку на руки и так высоко подбросил, что у меня захолонуло сердце. Но Шурка хохотал. Им было приятно встретиться после долгой разлуки.

Потом Федя ушел к себе и долго возился, что-то передвигая в комнате и ворча себе под нос. Скоро ворчание это перешло в однообразную заунывную

песню. Я не знаю, что это была за песня. Должно быть, Федя перенял ее от какого-нибудь чукчи или эвенка. Я не могла даже разобрать, были ли у этой песни слова. Все было в этой чужой песне неведомо, а между тем каждый человек, у которого есть в груди сердце, я думаю, понял бы ее. Слушая эту жалобную мелодию, мне захотелось броситься к Феде в комнату и сказать ему: „Ах, не надо, Федя, милый, пожалуйста, не надо так...“ Но я не бросилась к нему в комнату и ничего не сказала. А потом он сам вышел, держа в руках привезенные для мужа пимы, и все мы вместе сидели и пили чай. Федя весь вечер рассказывал об экспедиции. Шурка сидел, разинув рот, и так с разинутым ртом и заснул. Я взяла его в охапку и отнесла в постель.

Он был тепленький, волосенки разлетались по лбу, и от него так вкусно пахло. Я шла и тихонько целовала его. Потом, раздевая его, я слышала доносившиеся из столовой голоса мужчин. Я раздевала Шурку и все время слышала эти голоса в столовой. А потом подошла

к Маришкиной постели, поправила одеяльце, присела возле, прикорнула на подушке да так и заснула.

Уехала я с фабрики в первых числах января тысяча девятьсот двадцать третьего года — уехала учиться в Петроград. Путевку на рабфак схлопотал мне тот самый заворг, который отправил меня на производство. Поступила я на рабфак без особых затруднений, но как я удержалась в нем и не вылетела в первые же месяцы — это до сих пор совершенно мне непонятно. В сущности говоря, я ведь ничегошеньки не знала. Все приходилось начинать с азов, а в двадцать четыре года это не так-то легко. Намучилась я порядком, немало и слез пролила на книжные страницы. Больше всего огорчений причиняла мне математика, и не потому, чтобы я оказалась очень уж тупа в этой области. Тут были особые причины, а для того, чтобы причины эти стали ясны, надо сказать несколько слов о нашем преподавателе математики, профессоре Серебровском.

Это был довольно крупный специалист, но человек не очень-то приятный и в обращении колючий, несмотря на внешний лоск и обходительность. Преподавал он очень интересно, но относился к своим ученикам, ко всем этим „престарелым пролетарским юношам“ с оттенком пренебрежительного высокомерия. Между ним и рабфаковцами всегда стоял невидимый барьер, и Серебровский не только не пытался перешагнуть через него, но, казалось, был доволен существованием этой преграды.

Только в редкие минуты истинного увлечения предметом он, случалось, забывал, кто мы такие. Невидимый барьер исчезал. Мы сидели, раскрыв рты, и не слышали извещавшего о перерыве звонка. Мало-помалу математика стала нашим любимым предметом, в то время как сам математик оставался нелюбимым.

Особенно неприятен всем нам был Серебровский на экзаменах. Нельзя сказать, чтобы он был из тех грозных профессоров, которые свирепствуют на зачетах и которых боятся как огня. Нет,

дело было не в предъявляемых им строгих требованиях. Проваливал он малого и крайне редко, но зато изводил деликатным своим ехидством всех и постоянно.

Получила, понятно, свою долю и я, и, пожалуй, даже большую, чем другие. Как сейчас помню первый мой зачет у Серебровского. Подготовлена я была слабо, у доски не могла путем решить ни одной задачи, в ответах путала и околесила — словом, было ясно, что я позорно провалилась. Серебровский возился со мной минут двадцать, делая к моим ответам такие примечания, что ребята громко фыркали, а я не знала, куда деваться от стыда. В конце опроса он взял мою зачетную книжку и сказал с шутливым равнодушием:

— Ну-с, я полагаю, что Софьи Ковалевской из вас не выйдет, но, принимая во внимание пролетарское происхождение, поставить можно „удовлетворительно“.

Он улыбнулся и обмакнул перо в чернила. Потом он поднял ко мне свое улыбающееся тонкогубое лицо, и тут

взгляды наши встретились. Вид этих светлых холодных глаз (ах, как они были презрительно холодны!) вдруг вывел меня из равновесия.

Я не знаю, что со мной случилось. Я как-то разом потеряла над собой контроль и, вырвав из рук его свою зачетную книжку, выбежала из аудитории. Не помню, как я мчалась бесконечными нашими коридорами, как выскочила в примыкавший к нашему зданию сад, но помню, что плюхнулась на первую попавшуюся скамейку и бурно расплакалась. Мне кажется, ни до того, ни после я никогда так сильно не плакала. Я ревела как белуга, я выла, я задыхалась от обиды, от стыда, от бешеной злобы, от бессилия, от ненависти. И я дала здесь, на садовой скамейке, страшную ганнибалову клятву, что я — полуграмотная и темная крестьянка — буду, обязательно буду профессором, что отныне я вступаю в смертельную борьбу с теми, кто хотел, чтобы я навеки оставалась полуграмотной и темной, что я ворвусь в их заповедник, который веками оберегали от нас,

войду туда уверенной поступью хозяйки... Да, я войду туда хозяйкой. Это так и будет... И я буду вежлива... Да, вежлива...

Не знаю, почему мне тогда казалось столь уж важным быть вежливой, но я повторяла это как маньяк. Мне думалось, видимо, что, если я сделаюсь так же вежлива, как Серебровский, я сразу стану хоть чем-то, хотя бы внешне, рядом с ним и одним этим уязвлю его, начну борьбу с ним.

Сейчас все кажется мне не столько трагичным, сколько смешным, но, в сущности говоря, сам по себе незначительный этот эпизод сыграл в моей жизни значительную роль. Это был жизненный толчок, который привел к определенным жизненным решениям, и я убеждена, что поднялась я с этой садовой скамейки иной, чем на нее упала. И я... и я стала вежливой, честное слово. Я вообще стала во многом подражать Серебровскому и многое у него перенимать.

До этого, например, я говорила очень

плохим языком, засоренным бывшими тогда в большом ходу жаргонными словечками. Теперь я стала следить за своей речью. Я видела, что Серебровский говорит иначе, и я поняла, что он говорит чистым, хорошим русским языком, и я стала перенимать у него этот чистый, хороший русский язык.

Мало-помалу у меня вошло в привычку следить не только за речью профессора, но и за его движениями, походкой, манерами, интонациями. Я научилась понимать скрытый и иногда сложно замаскированный смысл его шуточек и острых словечек. Это была ревнивая и тайная слежка.

Тайной, впрочем, она оставалась недолго. Серебровский был чуток, и я была раскрыта очень скоро. Между нами завязалась борьба — глухая, напряженная и упорная. Каждый зачет, каждая работа, каждая лекция, каждая встреча превращались обычно в боевую сшибку, и надо признаться, что я всегда уходила с поля брани битой. Невежество мое было настолько очевидным, что иногда достаточно было одного шутливового вопроса, одного

летучего словечка, на которые Серебровский был великий мастер, чтобы обратить меня в прах.

И тем не менее я не сдавалась. Нет, я не сдавалась, я упорствовала, я работала, как чорт, я вгрызалась в книги, точно клещ, я засыпала над ними, я высохла, как мумия, но не сдавалась. Это было очень тяжело само по себе и еще тяжелее потому, что, кроме учебы, у меня было множество общественных нагрузок.

Общественные нагрузки были тогда в каком-то непримиримом противоречии с учебой. Наибольшие хвосты были у наиболее видных общественников, и в конце концов самые активные ребята выбывали с фронта учебы. Они либо становились аппаратными работниками в самих учебных заведениях, либо их „брали“ в МОПР или в какой-нибудь профком, или в другую организацию, с которой они были связаны, работая в качестве студентов-общественников, оставались недоучками, и прошло немало времени, прежде чем мы поняли ту простую истину, что студенты должны учиться. Мы

начали требовать от своих культпропов и профкомовцев академической успеваемости и в конце концов добились этого.

В мое время все еще оставалось по-старому, и я оглянуться не успела, как была загружена по горло. Целые дни я металась как угорелая с лекции на собрание, с собрания на конференцию, а ночью корпела над книгами. Это было тяжело; приходилось в год-два наверстать все, что я упустила в течение двадцати четырех лет моей жизни, — и в конце концов я сорвалась. Я стала отставать и провалилась подряд на двух зачетах.

Это был урок, и я поняла, что это урок, и решила покончить с нагрузками — ведь за мной стояла моя ганнибалова клятва. Но это было не так-то легко. Во-первых, меня ниоткуда не отпускали, во-вторых, я сама так втянулась в нагрузки, что мне казалось невозможным бросить все эти висевшие на мне дела. Мне пришлось бороться на два фронта — и с товарищами и с собой. В результате половинчатых моих мер я одержала половинчатую победу. Кое-что с меня

сняли, но очень многое осталось. Оказалось, что я, сама того не подозревая, стала необходимой участницей всякого общественного мероприятия на рабфаке, и это было сильнее меня. Я чувствовала, что погибаю, и сделала последний отчаянный шаг — пошла в райком партии.

В райкоме я поначалу немного струсилась. Агитпроп, к которому я попала, показался мне человеком довольно мрачным и неприветливым. Сейчас это несколько бы меня не смутило. Я люблю мрачноватых людей и давно заметила, что они оказываются хорошими людьми гораздо чаще, чем те, что издали улыбаются вам навстречу. Но в те времена жизненный мой опыт был поуже, первому впечатлению я отдавалась полней и потому сильно волновалась, стоя перед неприветливым агитпропом. Между тем он потихонечку да полегонечку расспросил меня о рабфаке, о моей учебе, о прежней работе, и я не заметила, как волнение мое утихло, как поверила я ему все, что меня мучило, вплоть до ганнибаловой клятвы и Серебровского.

Он слушал, изредка вставляя в мою речь отрывистое слово или вопрос, кивая крупной своей головой и подымая на меня темные пристальные глаза. Потом спросил:

— Ну, так какие же нагрузки ты хочешь снять?

— Все,— сказала я решительно.

— Все сразу?

— Все сразу.

— А потом прямо, значит, в профессора?

— Прямо.

— Ишь ты!

Агитпроп насупил тяжелые брови, потом неожиданно рассмеялся, и тогда стало вдруг видно, что он очень молод и глаза у него хоть и темны, как ночь, но в них упрятана беглая озорная искорка, и вообще вовсе нет в нем той свирепости, которую можно было предположить с первого взгляда. Пробыла я у него не очень долго, но результат короткого приема был решительный. Нагрузки с меня все были сняты. Партсекретарь наш был вызван в райком, и его там сильно по-

трясли насчет методов общественной работы на рабфаке.

Заходил и агитпроп к нам несколько раз. Я его видела только однажды и то мельком, но знала от ребят, что он справляется о моих успехах.

Успехи в первое время в самом деле были. Скинув с плеч тяжкое бремя нагрузок, я изо всех сил налегла на учебу. Я работала дни и ночи и сильно двинулась вперед. Но потом со мной стало твориться что-то неладное. Я как-то стала путаться и теряться и снова вдруг заробела перед Серебровским. Не знаю, чем бы это мое состояние разрешилось, если бы однажды и совершенно неожиданно я не наскочила на улице, недалеко от райкома, на моего агитпропа.

Мы столкнулись с ним почти нос к носу, и я невольно приостановилась. Потом я молча кивнула ему и хотела пройти мимо, но агитпроп коротким движением руки задержал меня. Он внимательно оглядел мое лицо и сказал, покачивая головой:

— Эк, скулы-то подвело!

Тяжелые брови его раздвинулись, и темные пристальные глаза заглянули в мои глаза.

— Трудно?

— Трудно, — вырвалось у меня с тоской.

Он вздохнул, помолчал, потом сказал глухо и как бы сердито:

— Все настоящее, брат, трудно.

Он притронулся к моей руке, я повернула назад, и мы пошли рядом. Он расспрашивал меня о моей учебе, о Серебровском. Прощаясь, он сказал:

— Вот что, друг. Загляни-ка завтра ко мне в райком.

Я заглянула к нему в райком, и эта третья наша встреча кончилась довольно неожиданно. Собственно говоря, неожиданности начались с первой минуты нашего свидания.

Он тряхнул мне руку и сказал скороговоркой:

— А-а, профессор, вот кстати. Я тут тебе нагрузочку приготовил.

Он отвернулся и уткнул нос в какую-то папку, потом вдруг блеснул в мою

сторону черным лукавым глазом. Я смотрела на него с удивлением, почти со страхом. Он же сам освободил меня от всех нагрузок, он же не далее как вчера слышал мое горькое „трудно“, а теперь он же меня и нагружает. Должно быть, смятение мое довольно красноречиво отразилось на моем лице. Агитпроп усмехнулся и спросил, покусывая карандаш:

— Что? Испугалась?

— Странно... — залепетала я.

— Ну-ну, — перебил агитпроп, отбрасывая карандаш. — Нагрузка нагрузке рознь. Речь идет не о мелочах каких-нибудь; речь идет о перспективе, понимаешь, — о перспективе. Ты вот закопалась, перетрудилась, голову-то вниз и клонит.

Я не совсем понимала, что он хотел сказать и о какой перспективе шла речь. Он усадил меня на пыльный диван и постарался объяснить мне это. Разговор вышел длинным, и в результате я получила довольно крупную партийную нагрузку по райкому. Она удивила и напугала меня и ответственностью и масшта-

бом работы, но скоро я сделала странное открытие, что большой масштаб работы во многих отношениях вовсе не трудней малого. Тут действует что-то вроде физического закона о равенстве действия и противодействия. Широта и сложность работы вызывают к жизни в человеке те именно возможности и силы, которые нужны для выполнения этой сложной, трудной работы и которые при малой работе не проявляются, не используются и как бы спят. Я испытала это на себе. Я сразу как-то шире стала двигаться, шире думать, дальше видеть. Это было так, как будто я поднялась на большую гору и передо мной разом открылся новый и несравненно более широкий, чем прежде, горизонт.

Это была перспектива. Агитпроп мой оказался прав. Вся я как-то воспрянула, окрепла, стала уверенней, но не той глупой уверенностью невежества, которая жила во мне раньше, а иной, более сознательной и более трудной. И я научилась одной очень важной вещи: я научилась не бояться поражений. Я не пуга-

лась, я не приходила в отчаяние, если Серебровский одерживал надо мной верх и доказывал мне, что я еще мало знаю. Я встряхивала головой (эта привычка подбадривать себя осталась и по сейчас) и говорила:

— Ничего. Выучу.

Серебровский, если ему случалось это слышать, замечал по этому поводу:

— Науку нельзя выучить, милый товарищ. Это особый род деятельности, и для этого особого рода деятельности нужно иметь развитой мозг, нужно иметь интеллект.

Последнее слово он произносил с особой подчеркнутостью, почти по слогам. Он улыбался при этом, но одними губами. Холодные, не улыбочивые глаза его оставались неподвижными. Он был убежден, что у меня нет ни мозга, ни интеллекта, и не только нет, но и быть не может. Но меня это уже не оскорбляло, как вначале, а только возбуждало энергию. Он называл меня „милым товарищем“, я научилась называть его „милым профессором“ и отвечать в тон на едкие его

словечки. Мы расставались любезные и враждебные с тем, чтобы снова сойтись и снова схватиться врукопашную. И так продолжалось до самых выпускных зачетов, до самого часа нашего расставания.

Математика прошла с блеском. Это был последний мой поединок с Серебровским, и каждый из нас делал все, что мог, чтобы одержать верх над противником.

К чести Серебровского надо сказать, что он не плутовал, не прибегал ни к каким неблагоприятным уловкам и не выходил за пределы курса, хотя и давал в нем самое трудное (билетов тогда никаких на зачетах не было).

Что касается меня, то я быстро справлялась со всеми заданиями и к концу испытания сама расширила арену борьбы, упомянув при решении кубических уравнений о формуле Кардано.

Кардано был необязателен в нашем курсе, и о существовании его знали только трое из всех рабфаковцев — я и еще два выпускника — Липман и Фесенко. Оба они, и Липман и Фесенко, были страстными

математиками, часто бегали в Публичную библиотеку читать специальные труды, и, случилось, мы втроем просиживали целые вечера над задачками, не имеющими никакого отношения к нашему курсу.

Услышав про Кардано, Серебровский поднял на меня удивленные глаза, потом повернулся всем телом к доске и минуты две всматривался в приведенные мной выкладки. Я не смотрела на доску, так как была уверена в каждом знаке. Я смотрела на Серебровского. Тонкие брови его вздрагивали, и я видела, что он думает не о моих выкладках (он с первого взгляда должен был увидеть, что решение правильно), а о том, принять или нет мой вызов, пойти или нет за пределы курса.

Пораздумав, он, видимо, решил отступить, и, мне кажется, главной причиной этого решения было то, что он не хотел делать нашу борьбу совершенно уж явной для всех. Он не хотел ставить себя на равную со мной ногу, открыто принимая вызов. Словом, он протянул руку и сказал холодно:

— Давайте вашу зачетную книжку.

Я оставила доску и перепаханными мелом руками подала ему книжку. Он раскрыл ее, обмакнул перо в чернильницу, но потом задержал руку с пером над книжкой и небрежно спросил:

— Вы упомянули о Кардано. А можете вы мне сказать точно его формулу?

Я сказала, радуясь тому, что он все-таки не выдержал искушения и выдал себя. Серебровский, не подымая головы, черкнул в моей книжке зачет и захлопнул ее. Я протянула за ней руку. Он подал мне книжку и тихо, с ядовитой шутливостью сказал:

— А Софьи Ковалевской из вас все-таки не выйдет, милый товарищ.

— Так же, как из вас Лейбница, милый профессор, — сказала я твердо, глядя ему в глаза.

Он напряженно улыбнулся. Потом откинулся на спинку стула и засмеялся. Но глаза его были, как всегда, холодны и колючи.

Я взяла свой матрикул и, не глядя на него, вышла из аудитории. С Серебров-

ским было покончено, да, в сущности говоря, дело было и не в нем. Он был частностью, случайным толчком, и это я давно поняла, хотя и эту частность и его осилить мне очень хотелось. Ну что ж! Я и осилила. Я прошла в сад и села на скамью, на ту самую скамью, на которой когда-то сидела, рыдая, тусклым осенним вечером. Теперь стояла поздняя весна. Старая поникшая береза уронила на скамью свои плакучие кружевные ветви. Я протянула руку и сорвала одну из них, с несколькими клейкими листочками. Они были уже довольно велики, но в развилке попавшей мне в руку веточки сидели совсем молодые, наивно-зеленые листочки. И тут же, зацепившись за острый сучок, болтался почерневший прошлогодний лист. Он был сух и морщинист и вдруг напомнил мне почему-то сухую и морщинистую руку Серебровского. Я счастливо засмеялась и, сорвав, кинула его себе под ноги. Потом поднесла к лицу буйную зелень молодых листочков и жадно потянула в себя парной и сладковатый запах весны.

Следующий год прошел в подготовке к поступлению в вуз. Я работала очень старательно, так как особенных способностей у меня нет. Впрочем, книги давались мне уже гораздо легче, чем прежде. Я привыкла к ним и их приручила к себе. Экзамены сошли благополучно. Я была принята на электромеханический факультет Политехнического института.

С каким священным трепетом вступила я впервые в аудиторию, я и сказать не могу. Мне все не верилось, что это я, именно я, Дашка с Дальних Выселков, буду учиться в вузе, буду студенткой, буду слушать лекции виднейших ученых страны. Я не шла, я шествовала по институту, принимая сторожей за профессоров, а лаборантов за академиков.

Это чувство радостной приподнятости жило во мне довольно долго. Каждое утро я спешила в институт точно на свидание к милому. Трамвай, отходящий от остановки, был точно отчаливающий в чуждальние страны трансатлантический экспресс. Он мчался, вздрагивал и звенел, а я стояла на площадке, и пол подо мной

тоже вздрагивал и звенел, и стекла тоже тихонько по-комариному звенели. Они пели, и я пела, и никто не слышал, как я пела, качаясь и подпрыгивая на трамвайной площадке.

Только месяцев пять спустя я заметила, что стекла не поют, а дребезжат, что внутри вагона ехать теплее, чем на площадке, что вообще хорошо бы перетащить институт из Лесного куда-нибудь к Нарвским воротам, поближе к моему жилью.

Кстати, с жильем мне повезло. Учась на рабфаке, я довольно тесно сдружилась с одной из своих однокурсниц, Вале́й Никитиной. Она имела приличную комнату в шестнадцать метров, и, когда я окончила рабфак и должна была уйти из рабфаковского общежития, Валя приютила меня на время у себя. Спустя полгода она вышла замуж и вместе с мужем — молодым инженером — уехала в Криворожье, передав комнату в полное мое распоряжение.

Жила я как-то и широко и в то же время одиноко. Помимо учебы, у меня было порядочно партийной работы; кроме

того, приходилось подрабатывать на жизнь сдельщиной в картонажной артели — так что на людях я была очень много. Но, возвратясь домой в свою комнату, я оставалась одна. Люди вокруг меня в ту пору как-то не оседали. Большинство студентов моего курса были лет на восемь, на десять моложе меня и, благодаря особости этих разделяющих нас лет, принадлежали, собственно говоря, к другому, чем я, поколению. Семьи у меня не было, родичей я растеряла, и только из редких писем старшей сестры Нади, живущей в Таганроге с мужем и тремя детьми, я знала, что отец умер в самый канун революции, что брат Георгий старательствует на Алтайских приисках, что обе младшие сестры погибли в двадцатом году от сыпняка, что любимый мой Сашка где-то в дальневосточных водах морячит.

Тяготилась ли я своим одиночеством?

Пожалуй, нет, но несколько холодела, стыла — это правда. В одиночестве человек становится неподвижным. Энергия рождается в движении, в столкновении. Одиночество расслабляет. Особенно нехо-

рошо оно для женщин. Если одинокий мужчина напоминает отшельника, то одинокая женщина — жертву.

Что касается меня, то я жертву вряд ли напоминала, хотя бы потому, что, несмотря на усиленные занятия, имела, по показаниям незаинтересованных свидетелей, цветущий вид и даже начала проявлять склонность к полноте. Все же, если я и не очень тяготилась своим одиночеством, то и удовольствия в нем не видела. Однако искать развлечений было просто некогда — и друзей так же.

И все-таки я находила друзей — и новых и старых...

Довольно неожиданно объявился Вашинцев и, надо сказать, при обстоятельствах не совсем-то приятных. Случилось, что я назначена была райкомом в партийную проверочную комиссию одного из ленинградских трестов. В первые же дни работы комиссии я познакомилась с несколькими разоблачительными заявлениями, которые говорили о том, что заместитель управляющего трестом то-

варищ Вашингцев — склочник, разложенец и, повидимому, вредитель, что он обманывает партию, что он злоупотребляет служебным положением в отношениях с подчиненными и, в частности, сожительствует с собственной секретаршей, понуждая ее к тому.

Много было в этих заявлениях скверно пахнущих вещей, и все это, признаться, просто огорошило меня вначале. Я себе никак, ну, никак не могла представить, что все эти художества приписываются тому Вашингцеву, которого я знала прежде. Поэтому первое, что пришло мне в голову, — это то, что тот Вашингцев и трестовский просто однофамильцы и никакого друг к другу отношения не имеют. Но, увы, заглянув в анкету и приложенную к ней автобиографию, я убедилась, что это именно тот Вашингцев. Долго я просидела над лежащими передо мной документами и не потому, чтобы я их очень уж старательно изучала (нет, я их только просмотрела и даже довольно бегло), а потому, что они задели меня, глубоко задели.

Не знаю, как объяснить странные и противоречивые чувства, которые овладели мной. Все эти заявления казались достаточно убедительными (одно из них подписано было членом парткома), и я должна была бы отвернуться от Вашинцева, думать о нем, как о человеке подлом и низком. Но, вместо того, мне только сейчас представилось вдруг с удивительной ясностью, каким славным был он прежде. И только сейчас я как бы почувствовала, как бы разглядела того прежнего Вашинцева и поняла его.

Это ведь часто с нами бывает, что случившееся или даже мелькнувшее в нашей жизни (событие, человека, даже отдельную фразу) разглядишь, объяснишь и поймешь только много позже, поумнев и хлебнув горького.

Так было со мной и в этот раз, и так приманчиво, так чудно показалось мне это недавнее, что я едва не заревела оттого, что оно испорчено. И я почувствовала горькую злобу против Вашинцева, против этого сегодняшнего Вашинцева, который испортил мне того, преж-

него. Злоба эта держалась до самого дня личной встречи с Вашинцевым, когда опять все замутилось и перепуталось.

Я сидела одна в парткоме, когда он вошел. Я хотела быть строгой и холодной, но, увидев его, обрадовалась и позабыла о лежащих передо мной бумагах.

— Вашинцев! — вскричала я. — Здорóво!

Он молча поклонился и прошел к столу. Я с тревогой и смущением оглядела Вашинцева. Он, казалось, сильно постарел, смуглые прежде щеки приобрели землистый оттенок, глаза были обведены темными кругами, блеск их помутнел.

— Садись, — сказала я, все продолжая его рассматривать и все дивясь происшедшей в нем перемене. — Ты знаешь, зачем я тебя просила прийти?

— Догадываюсь, — отозвался Вашинцев, устало опускаясь на стул и не глядя на меня. — Я к твоим услугам.

Мы помолчали. Очевидно, мне следовало уже начать говорить с ним о том, о чем я должна была говорить. Но мне было тягостно и стеснительно начинать этот разговор, и я спросила:

— Ты что же — не узнал меня?

— Узнал, — ответил он, все не глядя в мое лицо. — Ты мало изменилась.

— Зато ты, кажется, сильно изменился, — сказала я, кивнув на лежащие передо мной бумаги, и стала по пунктам перечислять выдвигаемые против него обвинения.

Он слушал молча. Потом, когда я кончила, спросил с невеселой усмешкой, кивнув на лежащие передо мной бумаги:

— А про секретаршу разве там нет?

Я смутилась. Перечисляя грехи Вашингцева, я — не знаю, сознательно или бессознательно — пропустила эту историю с секретаршей. Теперь, когда он заговорил об этом, мне стало очень неловко, и я поспешно сказала:

— Есть и про секретаршу. Но это не так существенно.

— Да? — спросил он с печальной какой-то рассеянностью, — а остальное ты полагаешь существенным?

— Знаешь, — сказала я, начиная злиться, — если потерю партбилета ты считаешь несущественным. . .

— Стой!— перебил Вашингцев.— Стой! Все это ложь и клевета.

Он поднял на меня глаза — ах, как они были усталы и измучены, эти серые, немножко навывкате глаза.

— Все это ложь и клевета!— повторил он глухо.

Все это в самом деле было ложью и клеветой.

В процессе чистки истинное положение вещей выяснилось довольно скоро. Трест работал скверно и засорен был чужаками. Вашингцев, недавно пришедший в трест, тотчас же начал с ними жестокую борьбу, и против него было пущено в ход старое, испытанное средство — клевета.

Не знаю, чем и как скоро кончилось бы все это, если бы не подоспела партийная чистка, которая продрала с песочком партийный коллектив и встряхнула вообще весь трестовский аппарат. Вашингцев был совершенно реабилитирован, и я была этому очень рада. Он стал мне как-то ближе после этой истории, чего я и не скрывала. Между тем сам он,

наоборот, отдалился от меня в эту пору, и мне казалось, что он намеренно меня сторонится.

Самые бестолковые дни — это праздничные. Ждешь их как манны небесной, строишь большие планы, а пройдет праздник — видишь, что зря день протопталась и почти ничего не сделала из того, что думала сделать. Правда, у каждого человека, кроме календарных примет, есть и свои особые, но и они приносят больше разочарований, чем радостей. Впрочем, это, может, и не у всех так.

Что касается меня, то у меня в ту пору из своих особых праздников был один — это день моего рождения. Я его, правда, никогда не справляла, никогда не созывала гостей, но все же это был всегда какой-то особый день, в который и чувствуешь себя, бывало, по-особому и чего-то все ждешь. Но день приходил к концу, наступал вечер, за ним ночь, и обнаруживалось, что не только не случилось ничего особого, но и ждать-то, собственно говоря, нечего было.

Тем более удивительным оказался день моего тридцатилетия, ставший для меня неожиданным праздником. С утра зашла ко мне одна студентка наша — Соня Бах. Она жила поблизости от меня и прибежала взять записки по механике. Я что-то не сразу могла найти записки, и, пока нашаривала их, мы разговорились, а, разговорившись, не заметили, как проболтали три часа. Соня оказалась очень интересной собеседницей, вообще замечательной оказалась. Она, как и я, в Ленинград приехала недавно и жила довольно замкнуто у дальних родственников. Мы виделись в институте с Соней чуть не каждый день на лекциях; несколько раз случалось нам даже возвращаться в одном трамвае к нарвским воротам, — словом, как будто и знали друг друга. Между тем только теперь мы убедились, что обе мы совсем не те, какими друг друга себе представляли. Каждая как бы открыла другую и сама открылась, и получилось это само собой, легко, естественно, без натуги. Когда Соня уходила, я уже знала, что теперь имею друга.

В прихожей, когда я провожала ее, мы долго стояли, не успев всего выговорить, как вдруг у входных дверей позвонили. Я открываю дверь и вижу — рассыльный с большущим каким-то пакетом. „Светлова здесь живет?“ — „Здесь, — говорю. — Я — Светлова“. Тогда он передает мне пакет и уходит. Я стою, ничего не понимая, а у Сони, вижу, глазки от любопытства загорелись.

— Что это? — спрашивает.

— Понятия не имею, — говорю.

— Давай посмотрим.

— Давай.

Мы вернулись в комнату и распотрошили пакет. В нем оказались пионы. Их было очень много — алые и розовые. Я так и ахнула, когда увидела их. Соня покачала головой и говорит, улыбаясь:

— Однако и поклонники же у тебя!

— Какие там поклонники! — отмахнулась я. — Никаких у меня поклонников сроду не водилось.

— Рассказывай, — погрозила мне Соня пальцем. — От кого же, если так?

— Честное слово, не знаю.

— Ну, хоть догадываешься?

— И не догадываюсь. Ни одна живая душа не знает, что сегодня день моего рождения. Никому я в городе этого не говорила.

— Может быть, день рождения здесь вовсе не при чем, — сказала Соня лукаво. — Можно ведь и так цветы поднести.

— Да за что же мне так, ни с того ни с сего?

Соня засмеялась и вдруг обняла меня.

— Дурища! Да ты посмотри в зеркало. Ты же настоящая красавица. Если бы я была мужчиной, я бы тебе каждый день цветы посылала.

Она поцеловала меня, ласково потормошила и скоро ушла. А я... я, конечно, ткнулась сейчас же в зеркало, чтобы дополнить Сонины наблюдения своими собственными.

Часа через два явился неожиданно Яша Фельдман — однокурсник и очень славный парень. Не помню уж, за каким делом он явился, — кажется, трешку стрельнуть до стипендии, — но получилась настоящая гостьба. Настроение у меня

было праздничное, приподнятое, — мы пили чай, болтали, хохотали. Потом меня вдруг позвали в комнату соседки к телефону. Тут ждал меня (о, день неожиданностей!) новый сюрприз. Звонил Вашинцев и... поздравлял с днем рождения. И то и другое не входило, так сказать, в программу дня, но было мне очень приятно.

Надо сказать, что с Вашинцевым мы не встречались, пожалуй, с полгода. После окончания трестовской чистки мы виделись всего один раз, и то потому, что случайно столкнулись у трамвайной остановки.

Странное впечатление оставила у меня эта встреча. В первую минуту Вашинцев как будто очень обрадовался, даже взволновался, видно. Мы пропустили три трамвая, и в конце концов Вашинцев предложил пройти пешком.

Я охотно согласилась, потому что тоже была рада встрече и возможности поговорить с Вашинцевым. Но, к удивлению моему, никакого разговора не получилось. После радостной взволнованности первых минут Вашинцев вдруг

потух и не только сам застыл, но и меня заморозил.

Всю дорогу до моего дома мы или молчали или говорили о ненужных пустяках. Все звучало натянуто, — словом, встреча совсем не удалась, как не удавались, впрочем, все наши встречи в Ленинграде.

Вашинцев был сух со мной и, казалось, нарочно отдалялся от меня. Я не понимала этого. Мне казалось, что прежнее наше знакомство давало мне право рассчитывать на более простые и сердечные отношения. Разве не были наши отношения именно такими; разве, прощаясь перед отъездом из Вологды, он не признавался молча, что расставаться со мной ему и грустно и не хочется, да и не только молча, если хотите. Я помнила совершенно отчетливо не только слова, но даже интонацию, с какой сказал он, держа мою руку в своей: „А ведь я не верю в это „прощай“...“

Тогда он и расставаясь не верил в „прощай“, а теперь и встретясь „здоровствуй“ не хотел сказать.

Признаться, это было мне очень досадно. Но что тут можно было делать? Там, в вологодском захолустье, было одно, здесь, в шумном великолепном Ленинграде, — другое. Там, в глуши, я занимала его, была, может быть, нужна ему; здесь у него другие интересы, да и времени прошло с тех пор слишком много... Ну что ж! В конце концов он все же хороший и умный человек, и оттого, что он переменялся в отношении ко мне, он не перестал быть хорошим и умным... Словом... Словом, я вам скажу, что это не так-то легко продолжать считать хорошим и умным человека, который охладел к вам. Попробуйте — и вы увидите, что это не так просто и что гораздо соблазнительней зачислить его чуть ли не в прохвосты. Нельзя сказать, чтобы я пошла по последнему пути, но немножко я все-таки, повидимому, презирала Вашинцева.

Впрочем, у меня было столько дела тогда, так я была занята, одушевлена, охвачена этим делом, так мало думала о другом, что особых переживаний эти

мои отношения с Вашинцевым у меня не вызывали... \

И вдруг этот звонок и поздравления. Я, признаться, обрадовалась и тому и другому и немедленно же пригласила Вашинцева пить чай.

— Сейчас не могу, — сказал Вашинцев глухо и как-то запинаясь, — но попозже вечером, если позволишь, зайду.

— Жаль, — сказала я разочарованно, — зашел бы сейчас. И теперь ведь, собственно говоря, почти вечер. Туту меня как раз товарищ тоже один сидит, славный парень... Правда, пришел бы...

Я с удивлением услышала нотки огорчения в собственном голосе.

Полчаса тому назад я не думала о Вашинцеве, полгода не замечала его отсутствия, но сейчас короткая отсрочка его прихода почему-то огорчила меня. Впрочем, долго огорчаться мне не пришлось. Вашинцев явился не „попозже вечером“, как обещал, а почти сейчас же, будто стоял во время телефонного разговора за дверью на лестнице. Я познакомила его с Яшей Фельдманом. Яша

чувствовал себя, видимо, не совсем ловко в его присутствии и скоро стал собираться уходить.

Вашинцев простился с ним рассеянно. Вообще был он и рассеян и задумчив, и обстановка, случившаяся в ту пору, была подстать его настроению. За окном темнело. Был тот час, когда нет уже дня, но нет еще и вечера, когда и природа будто застыла, будто остановилась в тихой задумчивости у невидимого распутия, когда и человек, вдруг глянув в окно, застынет и задумается, и ему кажется, что и сам он на неведомом ему распутии.

Так и со мной было. Я вдруг задумалась, замолчала, взгрустнула даже. Вашинцев не тревожил меня, не лез с разговорами, и я его почти не замечала. Все окружающее, и он в том числе, выпало из моего сознания. На меня хлынули воспоминания, что очень редко со мной бывает. Я думала о матери, о нашем кукольном доме у забора, о Сашке, о моем фронтовом редакторе. Я думала о себе... Вот мне сегодня стукнуло тридцать лет. Вот я стою на по-

роге в необъятный мир, я — рожденная в маленьком, душном, темном и промозглом мирке... И сколько еще путей, сколько нехоженных дорог! Что ждет меня? Какая судьба? Какие невзгоды? Какое счастье?..

Я оглянулась, будто спрашивала все это вслух и будто ждала ответа. И мне в самом деле захотелось говорить, спрашивать, допытываться.

— Вашинцев, — сказала я раздумчиво. — Ты счастлив, Вашинцев?

В комнате было тихо. Сумерки густо лежали за окном. Вашинцев сидел по другую от меня сторону стола. Я почти не видела его лица. Оно смутно белело в полутьме. Смутными и как-то смазанными виделись и движения его. И голос был тих и медлителен, когда он ответил:

— Да, я счастлив.

— ...Потому что вижу тебя... потому что могу сидеть вот так и смотреть, смотреть... Это счастье... Сейчас я могу сказать... наконец могу сказать... Шесть лет я таскал этот груз... Теперь я могу

выложить все... Однажды в жизни это можно. В конце концов я не так уж болтлив — ты знаешь. Разве я докучал тебе? Разве я был назойлив? А ты думаешь, мне было легко? Шесть лет... Я писал тебе письма, неудержимо длинные, задышающиеся; я не отсылал их. Нас разделяли сотни верст, но ты была всегда со мной... Я всегда знал, где ты и что делаешь... Твой ленинградский адрес я знал через полторы недели после твоего приезда. Я знал дом, в котором ты живешь, лестницу, по которой ты поднимаешься, окно твоей комнаты... Почему я не пришел? Не знаю... Может быть, я боялся увидеть тебя. Я боялся тебя, как ожога. Я протягивал руку и отдергивал... И потом... Я не хотел пересекать пути... ты начинала жить... Были тысячи причин... И наверное все они ничего не значили. Я не умею объяснять... Всегда так — самое важное никак не объяснить... Да, так вот и бывает. Не правда ли? Я видел сегодня удивительный сон. Ты протянула мне руку, я хотел взять ее в свои. Она ускользнула.

От нее исходило тепло... Оно сочилось из твоих пальцев... ладонь была сухой и жаркой... Я тянулся, все тянулся к ней, но она все отдалялась и становилась все жарче, и желтела, и начинала светиться, и пальцы желтели и становились длинней... И вдруг я увидел, что это солнце — твоя ладонь — солнце, желтое, плоское солнце, а пальцы — длинные тонкие лучи. Они били мне в глаза и слепили. Я закрыл глаза. И в то же мгновение я почувствовал, как что-то касается моих губ, я ощутил пять нежных прикосновений, и я догадался, что это твои пальцы, и вдруг проснулся... В окно било яркое солнце, лучи его ложились на мое лицо, и на губах был вкус твоих пальцев... Я коснулся их всего один раз, — тогда, в больнице... И я помню их какой-то физической осязательной памятью, будто они и сейчас лежат на моих губах... Я поднялся утром с песней. Я знал — я увижу тебя сегодня. Знал... Было двадцать восьмое мая, и я помнил оброненную семь лет назад фразу: „А двадцать восьмого как раз день моего

рождения". Я уже не помню, по какому поводу она была сказана и даже при каких обстоятельствах, но сама эта фраза врезалась в память, как врубленная в камне надпись. Я искал левкоев... Тогда, в Вологде, я приносил левкои... Потом я подумал: левкои — это напоминание... Не надо. Пусть ты сама... Я бросил левкои и послал пионы... Потом вдруг решил, что не пойду к тебе. Был выходной... Я лег спать. Но я не заснул, конечно. Я встал и вышел на улицу. На лестнице я решил, что обязательно пойду к тебе, но нарочно поехал на Петроградскую, чтобы не ехать к Нарвским воротам. И все-таки, двумя часами позже, я очутился у Нарвских ворот. Но в дом я не поднялся. Я зашел в аптеку и позвонил. Я поздравил тебя, и ты просила прийти... Я обещал, что приду потом, попозже, но уже через пять минут был у твоих дверей. Ты открыла дверь... Ты стояла передо мной в просвете дверей в прозрачной воздушной раме... Не знаю, наверно тебе говорили, что ты очень красива, но не в этом дело... Ты — есть

ты, вот что самое важное. Я думаю, что все, кто тебя полюбит, будут любить сильно, очень сильно. У тебя не будет мимолетных романов. Никогда, — это я знаю. Это не болтовня. Но все равно, если это и болтовня... Я никогда не перестану говорить... Потому что, говоря, я как бы ласкаю тебя... Я как бы держу тебя за руку и веду сквозь мою жизнь по сумрачной, тенистой тропе, и мы совсем одни на этой тропе, даже эхо нет с нами, даже городского шума в окно. Все завечерело и притихло, чтобы оставить нас с тобой одних, чтобы раз в жизни я мог рассказать тебе все... Даже если это ненужно тебе... А это всегда было страшней всего... Из тысячи причин молчания, может быть, эта и есть та единственная... Я шел около... Я не вошел... Ты сама вошла... Я не мог помешать. Это была случайность... Ты вошла и спасла меня. Ты застала меня в самую горькую минуту, в минуту слабости... А я... я — мужчина. Я кинулся прочь... Я избегал тебя, но чем сильнее я отдалялся, тем сильнее меня тянуло

назад... Очень грустные, очень тяжелые дни... И знаешь — очень счастливые... Да, да... Я всегда был счастлив...

Удивительный день. Пьяный какой-то. Или как весной в грозу, под дождиком, в поле — и щекотно, и чуть страшно, и по коже будто паучок на тоненьких лапках бегаёт. Кожа вся как живая, и чувствуешь кожей и этот падающий дождь, и душный густой воздух, и будто даже колючие электрические искры в нем. И оттого вздрагиваешь вся, и томишься, и хочется, чтобы лилась, лилась без конца по телу эта светлая весенняя влага.

Так я стояла у стола... А Вашингцев говорил быстро, не дыша. И когда он говорил, у меня падало сердце. Я чувствовала, что оно катится вниз. Мне хотелось закрыть глаза и опуститься на пол... Слова любви... Нет, Мопассан неправ. Они нужны. Они — как вихрь. Правда.

Потом я зажгла огонь и посмотрела на Вашингцева с каким-то неизъяснимым любопытством и будто впервые его увидела. Он был очень хорош — высокий,

с падающей на висок косою прядью волос, с лицом, затененным наклоном головы, с удивительно яркими на нем, прямо девичьими губами, с тяжелой грубоватостью плеч, которая так к лицу мужчине. Он, казалось, не видел меня. А мне вдруг захотелось подойти к нему, охватить его голову руками, что-то говорить, лаская эту голову. Потом я подумала — что же это такое? Разве я люблю этого человека? Разве я думала о нем вчера? Я покачала головой, выпрямилась. Все во мне сразу похолодело, улеглось, стало строже. Я села к столу и задумалась. На стене тикали ходики... Мне было тридцать лет...

Когда я проснулась утром на другой день, я ничего особенного не чувствовала. Это, пожалуй, странно было. День-то ведь явно вырвался из других, стал особым. Он должен был, как сильно взятый звук, иметь далекий отзвук вперед. А этого не было. Я проснулась так, как будто вчерашнего дня не существовало, — оделась, умылась, выпила стакан чаю и по-

бежала в институт. Только выходя из комнаты, я быстро взглянула на мой букет — и это было как укол, как теплая искорка.

Я убежала, выскочила на шумную улицу, вся ушла в дневные дела... а она тлела.

Все было обыкновенно. Я ни о чем таком не думала, я записывала лекции, звонила по телефону, спорила о чем-то с товарищами... а она тлела.

Я даже не знала о том, что она тлеет... а она тлела.

Ночью, усталая после тысячи дневных дел, я легла в постель. Я улыбалась в темноту и, думая, что засыпаю от усталости, заснула от счастья. Я спала очень крепко, без сновидений... а она тлела.

Она была такая нежная, эта теплая искорка, что могла потухнуть от малейшей неловкости. Она была так мала, что ее нельзя было раздуть — дыхание потушило бы ее. Должно быть, Вашингцев знал о таких вещах и не появлялся. Он не приходил целую шестидневку, мой хитрец, мой умница. Он оставил

меня одну. И я ходила, и выносила одна эту искорку...

А потом он пришел... и я очень обрадовалась ему. А потом... А потом, если я сию же минуту не выну из духовки крендель, он обязательно подгорит...

Крендель не подгорел и вышел на славу. Я люблю повозиться с печеньем, только редко выпадает время. С утра часов до пяти в институте читаю курс или веду семинары. Вечер тоже частенько прихватишь — на собрание какое-нибудь по кафедре или в деканате. Домой приходишь измочаленная, а дома тоже не отдохнешь: муж да Шурка, да Маришка, да хозяйство — все очень милое сердцу и очень утомительное. Одним словом живу — как все наши женщины, очень сложно, очень стремительно, очень трудно. Впрочем, все ведь трудно, если по-хорошему делать. Вон — крендель, и тот нелегко состряпать, чтобы вкусный был. И на это умение нужно, а, если хотите, не только умение, но и талант. Тут можно все сделать по самому лучшему рецепту

и все в точности — и все же получить в результате ужасную дрянь. А другой едва руку приложит, что-то разотрет, что-то подмешает или просто убавит огня, словом, сделает что-то совсем чуть-чутьочное и одним движением все преобразит — и все уже румянится, и слюится, и пахнет так, что слюнки текут.

Федя говорит в таких случаях, что тут пахнет уже не кренделем, а искусством. Он, Федя, вообще на слово очень меток, хотя определения его и кажутся иногда странноватыми. По поводу этих определений мы другой раз сильно спорим с Соней Бах. Я горой стою за Федю, а она по большей части язвит. Кончается обыкновенно тем, что она этак выпатит насмешливо нижнюю губу и скажет:

— Пожалуйста, не нахваливай своего Федю. Все равно ничего не выйдет.

Она всегда несколько презрительно отзывается о Феде, а когда встретится с ним, постоянно насмешничает и уязвляет. Но все это, по-моему, дымовая

завеса. На самом-то деле Федя очень ей нравится.

Соня вообще такая, что не всегда-то в ней и разберешься, как следует. С ней и легко и в то же время трудно, пожалуй. Легко потому, что ей можно ничего не объяснять: все она поймет с полуслова, с полувзгляда. А трудно потому, что с ней невольно хочешь быть умней, острее, ловчей, чем всегда, и оттого напрягаешься.

Еще трудней с ней, когда начнешь лукавить. Тогда она страшно сердится, становится злой, ядовитой, резкой. Характер у нее, как у большинства умных и острых людей, не очень-то приятный, и многих она отталкивает с первой встречи. Мы с ней, наоборот, сразу полетели друг другу навстречу, и мне кажется, что отношения наши и посейчас несколько не изменились, несмотря на то, что с тех пор прошло десять лет и что строй моей жизни со времени замужества очень изменился против Сониного. Правда, мы уже не бегаем, как прежде, друг к другу каждый день спозаранку; наоборот —

иной раз по несколько недель не видимся. Но зато, когда сойдемся, эти недели сразу стираются, и все как прежде, то есть в том смысле как прежде, что все в другом — тебе и по душе, и близко, и интересно. Чаще всего, когда Соня ко мне приходит, она и ночевать у меня остается — и тогда полночи уходит, понятно, на разговоры.

Последнее время ночные наши диспуты перестали, впрочем, удаваться. Соня вдруг становилась молчалива и раздражительно-угрюма и гнала меня спать. На утро я заставала постель уже пустой. Обычно это значило, что Соня пропала надолго, а когда снова появится, будет очень ласкова и ровна. Нынче все как-то изменилось. Соня возвращалась очень скоро и не была ни так ласкова, ни так ровна, как прежде. Все это было мне знакомо. Я старалась, как могла, помочь делу, призывала Федю в помощники, и тогда... тогда дело шло еще хуже. Язвительный язычок Сони работал как заводной, и от нас обоих только перья летели. Я сдавалась сразу и забивалась в угол, но

Федя вступал в единоборство, и они спорили до одури, причем предметом спора было все, о чем они говорили. И всегда разговор получался какой-то двойной. Речь шла о театре, о жилых домах, о проекте Большого Ленинграда, о футболе, о кино — и в то же время речь шла о чем-то другом, что не произносилось.

Я так уставала от этих споров, как будто целый день пятипудовые мешки таскала. А когда Федя, наконец, уходил к себе, Соня насмешливо и торжествующе глядела на меня, как бы говоря: „Ну, теперь ты видишь, что ничего тут у тебя не выйдет?“

Чаще всего я изъясляла полную покорность, но иной раз на меня нападала вдруг злоба, и тогда доставалось уже Соне. Чорт бы побрал этих умниц! Они слишком много понимают, чтобы быть счастливыми. И на поверку оказывается, что они не понимают самых простых вещей, а кстати и того, что самые-то простые вещи и есть самые важные.

Крендель имел успех и у ребячьих гостей и у моих. Ребята были чудные. Черномазая моя Маришка щеголяла в красном с белыми горошинками платье, в красных сафьяновых туфельках, с большим красным бантом на голове. Шурке я сшила коричневый вельветовый костюмчик. Коричневый цвет пришелся к лицу Шурке и очень гармонировал с его каштановыми волосенками. Вероятно для гармонии коричневых тонов Шурка опрокинул во время завтрака на костюмчик чашку какао.

Весь день и он и гости его скакали по дивану, гремели перевернутыми стульями, прятались за шкафами и производили опыты с различными предметами, в результате которых выяснилось, что шелковый абажур легко протыкается карандашом, а синяя вазочка для цветов, несмотря на то, что кажется очень толстой, легко разбивается об пол. К восьми часам опыты были закончены, и гости, удовлетворенные, оставили мое полуразрушенное жилище. Ближайшие полтора часа были употреблены на то, чтобы

привести квартиру в порядок, уложить ребят спать и приготовить все к приходу взрослых.

Эти майские вечеринки, игрища, гостьба стали традицией, и хоть традиция эта очень молода, но в быт вошла уже довольно прочно. Первого мая мы почти весь день на улице, а второго днем — у Шурки и Маришки маленькие их гости, а позже у меня взрослые.

В этот раз вечер вышел очень славный и легкий. Соня была в ударе и очень хорошенькая. Нельзя сказать, чтобы она была красивая — у нее не совсем правильные черты лица, и она очень уж чернявая, смуглая, но все ее неправильные и даже резкие черты лица удивительно привлекательны, когда она оживлена, а большущие черные глаза в такие минуты прямо как алмазы сияют. Федя тоже был какой-то отчаянно веселый, и это был, пожалуй, первый вечер, когда оба они не грызлись друг с другом и не насмешничали. За чаем они сидели рядом и совершенно мирно беседовали.

После чаю стали танцовать. Соня

танцевала с братом моим Сашкой. Года три назад он вдруг нагрянул из Владивостока в Ленинград. Оказалось, что тот, которого я знала, — востроухий, по-девичьи румянолицый и гибкий Сашка, — теперь огромный мужчанище, с трубкой в зубах, штурман дальнего плавания и уже четыре года как женат.

Я его не видала с девятнадцатого года и долго не могла к нему привыкнуть. Но потом понемногу я открывала в этом огрубевшем табачнике все черты прежнего моего отчаянного и в то же время застенчивого Сашки. Они жили в нем, и не такие уж глубокие раскопки пришлось делать, чтобы открыть их. В каждом, самом на вид серьезном и степенном, мужчине, по-моему, легко открыть озорного мальчишку. Это неистребимо, проживи он хоть сто лет. В общем мы с Сашкой обрели друг друга полностью очень скоро и зажили, как прежде, ладно и дружно.

Для таких вечеринок, как моя, Сашка — сущая находка. Он всегда готов подурчиться, всегда что-нибудь забавное выду-

мает, переодевается десять раз в вечер, шарады ставит, — словом, с ним не соскучишься. Танцует он прекрасно. Легкая, тоненькая Соня — вся черная — вместе со светловолосым, крупным Сашкой составляли хорошую пару и не совсем обыкновенную.

Впрочем, это не все заметили. Федя, например, совсем, кажется, не видел, что это так, да и вообще ничего, пожалуй, не видел. Он сидел в углу, смотрел на танцующих, даже притопывал в такт музыке ногой, даже улыбался, но, внимательно присмотревшись к нему, я поняла, что притопывания его машинальные, что улыбка у него рассеянная и отсутствующая и что, глядя на танцующих, он не видит их, а думает о своем, и думы его, верно, невеселые. Мне вдруг стало жаль его, так что даже сердце немножко защемило. Я подошла к нему. Мне захотелось чем-нибудь развлечь его.

— Чудная пара, правда? — сказала я, садясь с ним рядом, и кивнула на Сашку и Соню.

Федя вздрогнул, с минуту ошалело

глядел на меня, потом, когда я повторила свои слова, насупился и буркнул:

— Ну что ж, возьмите и пожените их.

— Поздно. Сашка четыре года как женат. А вот, что касается вас...

Я засмеялась.

— Поздно!— вскричал Федя.— Не выйдет! Вообще, послезавтра я съезжаю от вас.

— Как так съезжаете?

— Так вот и съезжаю. В собственную квартиру — две комнаты, теплая уборная, ванная, пейзаж...

— Господи, но откуда вы взяли собственную квартиру?

— Дали... За геройские поступки и выдающуюся красоту.

— Ну что же, хорошо,— сказала я, немножко сбившись,— хорошо, конечно. Вы к нам-то заглядывать будете, во всяком случае?

— Нет,— сказал Федя быстро,— ни в коем разе. Видеть каждый день предмет пылкой и благородной страсти... Э, чорт... Кроме того, ко мне приезжает с Урала мама. Каждый человек имеет

право на одну маму, и каждая мама имеет право, провести по-человечески свою почтенную старость, не правда ли? А в общем, сага шіа, дайте мне стакан чаю.

Он понурился и опустил голову. Я, не зная, что сказать, встала и пошла за чаем. Соня, кончив танцевать, кивнула Сашке, оставила его и подошла к Феде. Она чуть запыхалась и порозовела, глаза блестели. Она села рядом с Федей, но все будто продолжая двигаться в танце. Федя был неподвижен и задумчив. Соня что-то быстро и возбужденно говорила. Потом она засмеялась и легким движением тронула волосы. И смех, и это движение, и самые черты лица ее были не такими, как всегда. И дело было не в том, что сегодня все в ней было чуть-чуть манерно, — хотя и это для прямой моей Сони было диковинкой, — а в том, что и движения, и интонации, и, видимо, самое состояние ее были как бы подчинены одному какому-то внутреннему велению. Это было так мне видно, так ясно, как будто все происходило со

мною самой. Это была жажда нравиться, и не только, пожалуй, жажда, но потребность. Все вдруг стало в ней мягче, округлей, самая резкость черт как будто сгладилась. Это не было рассчитанное кокетство — это было преобразование всего существа. Невозможно было, чтобы она была в эти минуты занята какими-нибудь расчетами. Она поступала так потому... ну, потому, что так поступается, — вот и все. Я не ошибалась, — я уверена в этом. Я хорошо вижу людей, а уж Соню-то я особенно хорошо знала. Она всегда была порядочно-таки неряшлива, раскидана и резка в обращении. Сейчас передо мной была другая Соня, и эта Соня могла сделать многое из того, что не под силу было той, другой Соне...

Федя поднял голову и посмотрел на нее. Я зазевалась и выронила из рук блюдо. Оно разбилось...

— Ничего, — сказала старушка-няня, — это к счастью, к свадьбе...

В конце концов так и вышло по-нянинному. А началось это именно в тот вечер. Я уверена в этом.

— Ты должна особо помнить майские дни, — говорю, я Соне.

— Особо? — спрашивает Соня. — Почему особо?

Она поводит плечами, приближает свое лицо к зеркалу и подымает руку, чтобы поправить волосы. И это совсем-совсем не тот жест, какой был тогда после танцев. И вся Соня не та. Она сильно осунулась. Начало беременности протекает у нее очень тяжело — самочувствие скверное, частые рвоты. Мне очень жаль ее...

Что касается меня, то Федина женитьба принесла мне смутное разочарование, хотя сама же я больше всех старалась об этой женитьбе. Было ли чувство Феде ко мне настоящим? И не была ли эта женитьба в какой-то мере изменой этому чувству?

Я спросила однажды Федю полушутя-полусерьезно:

— Вы очень любите жену, Федя?

Он чуть смутился в первую минуту потом посмотрел мне в глаза и спросил суховато:

— А вы думаете, что я мог бы жениться на женщине, которую не люблю?

— Нет, не думаю,— сказала я уклончиво.— Но ведь случается... Не всегда женятся только уж по страстной любви... И потом... часто принимают за любовь простое влечение...

Федя долго молчал, потом сказал тихо:

— Вот что, Дашенька... Я знаю, о чем вы говорите, о чем думаете... Поймите, не надо жестикуляции, хотя бы столь приятной, как ваша... Так вот... Я любил вас... Это несомненно... Теперь не люблю — это тоже несомненно. А женятся не по любви, а по другим соображениям только сволочи... И больше об этом никогда говорить не будем...

Он замолчал и насупился. Я тоже примолкла и, понятно, разговоров подобных не затевала больше. Все было ясно. И все-таки. И все-таки я думаю, что глубокое, подлинное чувство не имеет прошедшего в обыкновенном смысле. Оно никогда не может умереть совсем и бесследно. Что-то, какая-то частица его всегда останется. Это как шрам от

глубокой раны. И сроки этого самого чувства, я думаю, не играют никакой роли. Будет ли это короткий взрыв или столетняя мука — это все равно.

Говорят, что чувству не надо учиться, что тут и дурак умен, что это само приходит и само уходит, да и нового-то тут нет и быть не может, — все это уже было и будет всегда.

Я думаю, что это не так. Я думаю, что у каждой эпохи свои чувства, свои законы чувств, свои пути развития и своя высота чувств.

И у человека — у всякого — свои пути в чувстве, и пути не такие уж простые и ясные. Много на этих путях перетрянешь в себе, многому научишься, да и споткнешься не раз, и потом путь к чувству делаешь вместе с путем в жизнь, а этот путь у меня очень уж дальний был. Начинала я, можно сказать, с ничего. Вся я жила как бы на поверхности, и понимала я лишь поверхность явлений, их видимое всем чередование и самые простые связи. Понимала я их в общем

хоть и примитивно, но верно, потому что совершенно сливалась с ними и они были мной самой, моими единственными мыслями и делами. Но эпоха и движение ее, и факты ее все усложнялись по мере движения, и я, чтобы двигаться вместе с ней, должна была усложняться. Уже нельзя было оставаться однородной глыбой, хотя бы и пообтесанной. Требовался сложный рабочий организм. Я его и вырабатывала. Я жадничала, я училась, я приобретала знания, опыт личный, опыт государственный, я работала как бешеная — и вот, собственно, вся история моей жизни.

Но я развивалась неравномерно, и это понятно при такой стремительности в одном направлении. Мой ум и сознание развивались, но душа — она, пожалуй, оставалась в те годы хранительницей опыта прежней моей жизни. Опыт был очень печальный, и душа уязвленно молчала.

Романисты говорят обычно о каком-то „пробуждении чувства“. У меня не было никакого пробуждения. Чувства

наново рождались. А потом, после рождения, шло воспитание.

Да, это было в самом деле воспитание чувств...

В тот вечер, когда вдруг так раскрылось чувство Вашинцева, я не была готова не только к тому, чтобы принять это чувство, но даже к тому, чтобы переживать его. Оно осталась как бы снаружи и меня самое оставило в прежней жизненной колее, в прежней настроенности, что ли.

Правда, в первые минуты оно меня тронуло, даже поразило. Мне было неизъяснимо приятно слушать эти горячие, сбивчивые, захлестывающие, как бурный поток, слова. Это было просто даже физическое какое-то состояние. Вообще надо было быть уж совершенным бревном, чтобы никак не взволноваться всем, что тогда я слышала, а я, верно, от природы не совсем уж деревянная. И после, несколько дней, след оставался—та искорка, о которой говорилось, хотя не так уж сильно она тлела. Я ее и разглядела-то, может быть, только теперь,

когда стала пристальней и с этой пристальностью оглянулась на тогдашнее свое состояние. В общем я прожила шестидневку после памятного объяснения довольно обычно, хотя и не соврала, записывая, что очень обрадовалась, когда в следующий выходной день снова увидела Вашингцева.

Он явился довольно рано, и вечер прошел у нас очень дружно. Только в первую минуту встречи была почти неуловимая неловкость и немота, но потом и это прошло. Мы пили чай. Вашингцев много рассказывал о людях и о местах, которые довелось ему видеть. Рассказы были очень живые, так что я чувствовала как бы, что сама видела и этих людей и эти края. Ночью, помню, мне приснилось большое-большое поле, и будто я иду по нему, сама не зная куда, а ему все нет ни конца, ни краю. Сон был однообразный и нескладный, но верно отражал тогдашние мои переживания. Рассказы Вашингцева действительно пробудили во мне желание куда-то двигаться, раздвинуть, расширить свой мир. Это,

впрочем, вообще так со мной было по отношению к Вашинцеву. Он всегда вносил какую-то широту в мой внутренний мир. И потом он все на свете знал, честное слово.

Помню, я однажды сидела и готовила зачет по механике. Дело шло туго, что-то все путалось, что-то не сходилось. Когда пришел Вашинцев, я пожаловалась ему на свои невзгоды. Он заглянул в мои тетрадки, в мои записи и в пять минут отыскал ошибку и все выправил.

— Откуда ты это знаешь? — спросила я с удивлением. — Это же не твоя специальность, ведь ты же юрист.

Он засмеялся и сказал:

— Это несущественно. А вот карандаш кусать вовсе нехорошо. И уж, во всяком случае, если кусать, то бери простой, а не химический.

Он слегка толкнул меня к зеркалу. Я заглянула и ахнула. Губы у меня были густофиолетового цвета. Этими фиолетовыми губами он долго меня дразнил. Он любил иногда дурачиться и молодец тогда удивительно. Он как мальчишка

становился, несмотря на свои тридцать пять лет.

А широта его всегда меня удивляла. Сейчас я вижу, что то, что он знал, не было всегда истинным знанием предмета. Это было скорей осведомленностью о предмете, но все же осведомлен-то он был об очень многих и разнообразных вещах.

Странные у меня сложились отношения с Вашингцевым. Я знала о его чувстве ко мне, но внешне в нашем общении это как бы выносилось за скобки. И он и я как будто сговорились, что не будем об этом упоминать. В то же время оба мы как будто признали то, что это связывает чем-то нас и какие-то права ему дает. Собственно говоря, это сводилось, пожалуй, к одному единственному праву — изредка напоминать, что я желанна и дорога ему. Это не были слова напоминания — он как будто дал зарок больше не говорить об этом, и не говорил. Но случилось, что вдруг, оглянувшись, я видела, что он сидит и

смотрит на меня глазами, в которых все теплилось и согревало на расстоянии.

Бывал он у меня почти каждый вечер, но иногда, случалось, он исчезал на несколько дней, даже на неделю. Я считала это естественным. Он был теперь директором бумажного треста, вел очень большое дело, и, понятно, оно требовало другой раз, чтобы он входил в него весь целиком.

Когда он снова появлялся, то был, видно, и очень усталый, но в то же время веселый-веселый, прямо точно пьяный. И не то, чтобы он хохотал или козлом прыгал, нет,— все это было в лице, в глазах. Весь он будто страшно радовался внутренне чему-то. И странно: мне начинало иногда казаться, что и отлучки эти и возвращения,— вообще все это связано не только с трестовскими делами, но и со мной лично.

Нельзя сказать, чтобы я так вот прямо думала тогда, как сейчас пишу. Это были не мысли, а скорей ощущения, и притом ощущения не очень ясные. Я в них копошилась, как слепой котенок, так как

жила-то до сих пор все умом и в ощущениях, в чувствах просто не умела разбираться. Это, я думаю, не диковинка, и бывает так со многими, что вот самые сложные явления человек разглядывает, раскрывает легко, а самые простые чувства — трудно.

Вообще и видеть-то человека надо учиться, и многое мы не видим потому, что не умеем видеть.

Помню, раз Вашинцев уехал в санаторий на Кавказ. У него была полуторамесячная путевка, но он неожиданно воротился через две недели. Когда я спросила, почему он так скоро, он сказал, что вызвали в трест по неотложным делам. Я его разбранила, что он не дожил срока, не долечился. Он ежился все. И тут мне опять показалось, что трест-то трестом, но дело не только в этом; и опять это было только ощущение, а не мысли, и я не разобралась, не увидела, что же в нем, в Вашинцеве, происходит.

Весной Вашинцев пропал на два месяца. Это было впервые; что его так долго не было. У меня тогда шли экзамены,

я переходила на третий курс. Время было горячее. Я занималась с Соней Бах дни и ночи и почти не заметила отсутствия Вашинцева.

Первые экзамены сошли прекрасно, и занималась я очень хорошо. Потом тяжелей сделалось. Голова, видно, устала. Свалив математику, мы решили с Соней сделать передышку. Сговорившись, что целый день будем гулять, мы разошлись по домам, чтобы через час снова сойтись. Но, придя домой, я до того захотела спать, что повалилась, как сноп, на постель.

Проснувшись я уже поздно вечером и долго лежала, ни о чем не думая, будто онемела вся. За окном были весенние сумерки. Я глядела в темное окно, и мне вдруг вспомнился такой же, как этот, вечер в прошлом году — в день моего рождения. Я подумала о Вашинцеве, и так живо представился он мне, что я даже оглянулась вокруг, как будто он должен быть тут в комнате, где-то совсем близко возле меня.

В ту же минуту раздался звонок. Я вздрогнула и, будто меня за плечи

дернули, села на кровати. Я слышала, как соседка прошла в прихожую, как открыла входную дверь, как постучали в мою комнату.

Я вскочила с кровати. Дверь открылась. Это была Соня...

Я, как стала посредине комнаты, так и осталась стоять.

Соня зажгла свет, поглядела на меня и засмеялась.

— Так и знала, — сказала она, тормозя меня. — Только глаза продрала, как и я, грешная. Ну, иди-иди, помой физию, и побежим гулять.

Я пошла и помылась. Делала я это лениво, и весь вечер, что мы гуляли с Соней, была вялая, и все будто ждала чего-то, и все в лица прохожих вглядывалась.

Вернувшись к ночи домой, я долго сидела в комнате не раздеваясь, и комната казалась мне пустой. Я опять подумала о Вашинцеве и пожалела, что его нет.

А он будто подслушал меня, и утром я нашла в дверном ящике письмо.

Еще не распечатав его, я знала, что

это от Вашинцева. Так оно и было. Я вернулась к себе и прочла его. Письмо было очень дружеское и немного грустное. Никаких особых нежностей в нем не было, но странно, что оно мне именно нежным показалось. Все это, впрочем, происходило, верно, от моей настроенности в этот день. Часто ведь и в письмах и в книгах читаешь не то, что написано (верней не только то, что написано), а то, что сама чувствуешь и думаешь.

Письмо было из Москвы. В нем, между прочим, говорилось, что из Москвы Вашинцев поедет еще в Нижний-Новгород по делам и что вернется не скоро.

Я перечитала письмо дважды и, когда пошла к Соне заниматься, взяла его с собой. Странно, что, несмотря на то, что письмо, как я сказала, было грустноватое, оно вселило в меня удивительную бодрость. Вчерашней вялости как не бывало. Я чувствовала себя так, будто только что выкупалась, и заниматься мне было очень легко. О Вашинцеве же я почти не вспоминала до самого его приезда. Он набежал на меня как туча, и сам же письмом

своим развеял эту тучу. Изредка только нападала на меня сковывающая задумчивость, как бы оцепенение. Если это случилось на улице — я переставала вдруг видеть окружающих; если это было во время занятий — я переставала понимать, что читаю. Потом это быстро проходило, и я была как всегда.

Вашинцев вернулся перед последним моим экзаменом. За несколько дней до того я получила от него письмо, в котором он сообщал о своем приезде. Письмо было сбивчивое, отрывистое, неровное — совсем не такое, как первое. В нем было много шуточных строк, но шутки казались мне невеселыми, и оно сильно меня растревожило. Я вдруг заметила, что мне все это время недоставало Вашингцева, стала его ждать с нетерпением, а когда увидела его — так обрадовалась, что даже испугалась.

Вашинцев заметно похудел и был, как последнее его письмо, беспокойен и неровен.

— Ты что? — спросила я с тревогой,

глядя на него. — В тресте что-нибудь не-
ладно?

— Нет, все ладно, — ответил Вашинцев рассеянно. Потом поднял на меня глаза и сказал шутливо: — Все такая же деловитая?

— Все такая же, да, — сказала я почему-то раздраженно. — А ты хотел бы, чтобы я другая была?

— Нет, почему же? — смутился Вашинцев и зашагал по комнате.

Я ткнулась в книгу и водила глазами по строчкам, ничего в них не понимая. Раздражение мое все усиливалось. Вашинцев все шагал по комнате, а спустя час ушел, понурый и нахохлившийся. Было видно, что он вовсе не такой встречи ждал. Да и я совсем не хотела и не думала, что так все несуразно и глупо получится. Кто из нас был виноват, что так все вышло, — я не уясняла себе, но досадно все это было мне очень. Все во мне глухо волновалось и саднило. В то же время я чувствовала себя точно деревянной и неуклюжей. Но самое мучительное во всем этом было то, что ничего из

того, что делалось во мне и что я чувствовала, я не могла определить. Я злилась до слез и в конце концов решила, что у меня просто-напросто дурной характер. Я пошла к телефону и, позвонив Вашиңцеву, сказала, что я дура. Он засмеялся и сказал, что примет это к сведению. У меня от этого далекого, по проводу, смеха сразу отлегло от сердца, но все же я долго еще после этого бурлила и чуть не провалила последний свой экзамен.

Лето я отработывала практику на „Электросиле“. Практика прошла замечательно и главным образом потому, что я сразу вошла в рабочий заводской организм. И рабочие, да и сама работа не любят чужаков. Если сразу не попадешь в рабочий поток, не станешь маленьким необходимым винтиком в этом большом механизме, то так всю практику и будешь шататься неприкаянным, путаясь у всех под ногами и всем мешая. Пользы от такой практики, конечно, мало, но, к сожалению, многие студенты тогда так и проводили свою практику.

Мне посчастливилось. Я сразу пошла на полный заводской ход. Причин этому было несколько. Первая была в том, что у меня был уже некоторый производственный опыт и я не только не чувствовала себя неловко, придя на завод, но наоборот — будто домой попала после долгой отлучки.

К тому же и случай помог. Правда, первый день моей практики я без толку прошталась до самого гудка, все разыскивая, куда бы и к кому бы мне прийтись. Потом кого-то надоумило сплавить меня на общезаводской субботник. Целью субботника была очистка цехов, до того заваленных всяким хламом и отходами, что в них повернуться негде было.

В генераторном, куда я попала, нужно было поставить на обмотку новый генератор, но места для него не было, так как цех загромождали совершенно ненужные материалы. Тут были и бревна, оставшиеся после недавней достройки корпуса, и бракованные отливки подшипников, и горы стальных стружек с обточки роторов, — словом, было, к чему руку приложить.

Для порядка мы разбились на бригады, и я попала в самую бойкую и дружную. Ребята были все молодые, комсомольцы. Я быстро с ними поладила и так прихватилась к работе, что от меня пар валил. После субботника мы все вместе пошли в заводскую столовку, и я чувствовала, что я уже не чужая среди них. Отношения наладились как-то сразу — на работе ведь быстро сходишься с людьми. Я прижилась в бригаде и осталась при ней на все время практики.

К осени выяснилось вдруг, что завод не выполняет квартального плана по генераторам. Для того чтобы план выполнить, нужно было обмотать генератор в двадцать четыре тысячи киловатт, а сделать обмотку такой машины в оставшиеся сроки по тогдашним условиям производства считалось невозможным.

Как раз в те дни заводской комсомол объявил производственный поход к шестнадцатому МЮДу. Были созданы цеховые контрольные комиссии. Комсомольцы подписывали социалистические обязательства, объявляли себя ударниками, закреп-

плялись за заводом до конца пятилетки, собирали рабочие предложения, — словом, за дело взялись горячо и с большим напором.

Когда выплыла вдруг эта история с невыполнением плана, цеховая комсомолья встала на дыбы и прямо в горло вцепилась заводской администрации. Решили, что недостающий по плану генератор должен быть сделан, и сделан руками нашей бригады. Добиться этого оказалось, однако, не так просто. Завод, как и вообще наша промышленность, выпускал тогда первые генераторы такой мощности, и столь ответственное новое дело поручать безусым комсомольцам боялись. Был страшный бой, и хотя кончился он — при поддержке парткома и при условии передачи руководства бригадой старому опытному мастеру — в нашу пользу, но к тому времени, когда решение это приняли, выяснилось, что до срока осталось одиннадцать дней, в то время как нужно было затратить на обмотку генератора по крайней мере двадцать. Однако отступить после поднятого

шума было уже поздно, и мы принялись за дело, да так, что хребты трещали.

На кронштейны уходило полтора дня работы — мы их установили в один день. Укладку катушек окончили вместо шести в три дня. Закрепление лобовой части обмотки и постановку прокладки, занимавшие семь дней, сделали в четыре с половиной. На пайке тоже выиграли два дня. Все шло отлично, за исключением того, что когда все это мы проделали, выяснилось, что работы остается на три дня, а у нас до срока всего один.

Когда по окончании смены мы произвели этот подсчет, у нас руки опустились. Но тут подошли Яша Казик — наш комсомольский отсекар — и молодой инженер один, Мамонтов, тоже комсомолец. Мы долго колдовали все вместе над генератором, прикидывая и так и сяк, что бы еще можно было сократить в рабочем времени, необходимом на доделку. Потом носатый старик наш — бригадир — оглядел нас сквозь тяжелые очки и говорит:

— Ну что же, ребята! Назвался груздем, полезай, значит, в кузов.

Больше мы не разговаривали и не со-
вещались. Яца Казик, недавно только
ушедший из цеха на комсомольскую ра-
боту, отложил портфель на скамейку и
снял галстук. Мамонтов надел спецовку.
Мы взяли инструменты и полезли на ге-
нератор, как на крепостную стену. По
существу это так и было. Это и был
наш тогдашний фронт, и от того, одо-
леем мы на нем или нет, вся наша судь-
ба и зависела.

Работали мы точно в жару и за сутки
только дважды передохнули, и то не
больше как по десять-пятнадцать минут.
Старый мастер наш точно на пружинах
весь ходил, и ревматизмов его, на кото-
рые он вечно жаловался, будто никогда
и не бывало.

— Давайте, сынки, давайте, — пону-
кал он бригадников. — Ужо после ото-
спимся: сколько дён впереди — все наши.

Впрочем, в том, чтобы подгонять нас,
и нужды не было. Мы уже на таком раз-
гоне были, что остановиться нам было
так же невозможно, как невозможно оста-
новиться пущенной в полет пуле.

Мы почти не разговаривали. Если кому-нибудь нужен был паяльник, или металл, или ручник — он только поведет глазами, и я уже знала, что ему нужно. У всех у нас было точно одно тело.

И это не было утомительно, уверяю вас. Наоборот: тело приобрело удивительную легкость, глаза — удивительную зоркость, а голова была точно стеклянная — до того в ней было все ясно и прозрачно.

А потом, когда мы кончили, когда пришла утренняя смена и мы все стояли перед готовым генератором и молчали, — я не помню другой такой минуты в своей жизни. Это не была гордость. Это было какое-то совершенное удовлетворение. Оно переполняло нас настолько, что мы ничего не хотели, даже похвалы.

Мы повернулись и пошли из цеха. Помню, что когда я вышла из корпуса на воздух, меня поразило стоящее высоко в голубом небе солнце. Было такое ощущение, точно я его давно-давно не видела или будто только сейчас открыла существование этого голубого далекого мира.

Я зажмурилась. Я была точно пьяная. Мы все были точно пьяные. Мы побежали по двору к проходной, но потом долго стояли у ворот на улице. Нам не хотелось расставаться, не хотелось отделяться друг от друга, разносить по частицам то нераздельное общее, что сегодня вместе пережили.

Осенью я опять вернулась к учебникам. Практика меня не только не утомила, но, наоборот, придала новые силы. Я будто уверенней стала, полней, богаче. Это сказалось и на отношениях с людьми и прежде всего — на отношениях с Вашингцевым.

Я призналась, наконец, себе в том, в чем давно, пожалуй, могла признаться. Но ему я ничего еще не сказала. Впрочем, едва ли это и нужно было. Он сразу все понял, и сразу весь какой-то другой стал — ясный, ровный, будто засветился весь.

Мы не говорили друг другу о своем чувстве, но оно было в каждом нашем движении, в каждом самом незначительном слове.

Этот немой роман наш длился почти всю зиму, и это была самая счастливая, самая чистая, самая высокая пора моего чувства.

Я не могу сказать, что после я была несчастлива или чувство мое пошло на убыль. Нет, нет. Позже оно стало и богаче, и сильней, и шире. Оно развилось, окрепло, слилось со всей моей жизнью. И все же многое из того, что было, позже сгладилось, затуманилось, забылось, а те дни никогда не забудутся. И повториться это тоже никогда-никогда не может.

Но если повторяться это никогда не может, то и длиться вечно тоже. Нельзя чувство хранить, как консервы. Оно или развивается или умирает. Мое развивалось, но очень медленно, а иногда мучительно. Оно как бы пробивалось через привычно облежавшую меня оболочку и, пробиваясь, все время изменяло меня. Каждый день я открывала в себе или в окружающем мире новую черточку, новую приметку, каких раньше не знала, не замечала. Оттого случалось, что самые

простые житейские вещи становились вдруг источником очень сложных переживаний.

В ту зиму мы часто ходили в театр и в Филармонию на симфонические концерты, к которым Вашинцев усердно пытался меня приохотить. Правда, с концертами тогда у меня мало что получалось. С ними было, примерно, то же, что когда-то с „Тартареном“ в больнице. Ощущения были непривычны, не укладывались в прежний мой опыт, были мне чужды. Я честно пыталась „понять“ симфонии, но понять их прямо внешним опытом, как понимают живую речь или уличную сцену, нельзя было, и я терялась. Мелодические богатства симфоний от меня ускользали, и я, как дикарь, ощущала только ритм музыки и то почти физически, как пульс. Одним словом, я была в этом отношении совершенным варваром, и с музыкальным моим воспитанием вначале у Вашинцева явно ничего не получалось.

С театром было иначе. Тут были более прямые связи с жизнью. Кроме того, как культработник, у себя на фабрике и по-

том на рабфаке я „провертывала“ немало постановок и культпоходов. Тем не менее, поначалу и тут оказалось, что театр я и знаю и понимаю плохо, или, как Вашинцев говорил, „снимаю театр с подмостков“. И это была чистая правда. Я воспринимала в театре только то, что говорилось действующими лицами, то есть до меня доходил не спектакль как сложное произведение искусства, а лишь прямой смысл происходящего на сцене.

Но в конце концов все стало на свое место — я и поняла и полюбила театр, и он многое мне открыл.

С некоторыми спектаклями соединены и личные мои памятки. Помню, смотрели мы с Вашинцевым „Ромео и Джульетту“. Это было первое мое знакомство с Шекспиром. Вначале мне показалось все очень искусственным и преувеличенным. Но к третьему акту впечатление незаметно изменилось, и во время сцены прощания Ромео и Джульетты у окна я сидела уже сама не своя. В общем, хотя я и устала к концу от приподнятых стихов и всяких

страстей, но впечатление от спектакля осталось все же сильное.

После театра я затащила Вашинцева к себе пить чай. Мы сидели у стола немножко принаряженные, праздничные и лениво о чем-то разговаривали. Было очень хорошо, тихо, покойно. Вашинцев встал и принялся ходить по комнате. Грузные шаги его были медленны и как бы задумчивы. Я и сама что-то задумалась, ушла куда-то, и как сквозь туман слышала медленные вышагивания Вашинцева. Потом шаги смолкли. Я почувствовала Вашинцева у себя за спиной совсем близко. Потом я увидела искоса около своего виска его лицо. Я не отстранилась. Он поцеловал меня в краешек губ у щеки — очень нежно, боязно как-то.

Щеки мои запылали. Я сидела не шевелясь, в странной, вяжущей все тело немоте, и не знаю, сколько бы так просидела, если бы вдруг не явилась неожиданно-негаданно Соня Бах.

Она, как оказалось, тоже была в театре, возвращаясь, увидела в моем окне свет и забежала „на огонек“ — поболтать

перед сном и поделиться впечатлениями. Что касается меня, то я вовсе в эту минуту не ждала Сони и не думала о ней. Несмотря на это, она не только не помешала, но очень ко времени пришлась. Странное мое онемение при Соне прошло. Я встретила ее ласково. Мы посидели часок втроем, и всем нам было легко, хорошо.

Потом Соня поднялась и ушла, а немного погодя ушел и Вашингцев. Я вышла проводить его до выходной двери. Было уже довольно поздно, и все в квартире, видимо, спали. Я взяла Вашингцева за руку, и мы на цыпочках пробрались по темному коридору к двери.

Это маленькое путешествие в темном коридоре было удивительно приятным. У двери Вашингцев тихонько пожал мне руку и осторожно вышел на лестницу. Я не видела за темнотой его лица, но почему-то уверена была, что он улыбается. И я улыбнулась ему. Потом, все улыбаясь, вернулась к себе в комнату и взяла зеркало. Глядя в него, я вспомнила старый, кажется, восемнадцатого века

анекдот о какой-то девушке, которая допытывалась у одного юноши, кого он любит. Он все не хотел отвечать; потом сказал, что завтра придет ей портрет любимой. На завтра он в самом деле прислал какой-то сверток. Она развернула сверток и, заглянув в него, увидела себя, отраженную в присланном юношей зеркале.

Я жадно всматривалась в зеркало и со странным, новым для меня чувством. Я не себя видела в нем, а ту, что любит Вашинцев. Я рассматривала себя его глазами. У некоторых женщин это рассматривание себя чужими глазами растягивается на всю жизнь. По-моему, это индивидуальная смерть, и раньше так умирали девяносто девять процентов женщин. Я этого совершенно не выношу, но тогда... тогда мне было сладостно смотреть на себя именно его глазами. И мне было страшно любопытно разгадывать этот невидимо обращенный на себя взгляд. Вся я до последней клеточки была веселая и легкая, и когда легла спать, то заснула сразу. И наверное мне и спать было весело и легко.

Весь следующий день и потом несколько дней спустя я ходила вся будто на цыпочках, приподнятая и гордая. И вокруг все как бы посветлело, все стало ярче — люди, улицы, окраска домов. Даже слова, речь человеческая, уличный шум стали звончей. Я и сама двигалась быстрее, оживленней и часто ловила себя на том, что говорю громче, чем нужно.

Все это переросло потом в какую-то лихорадку. Я стала неровна, порывиста, беспокойна. Беспокойными и неровными стали и отношения мои с Вашинцевым. Прежней безмолвной и ровной нежности, которая была между нами всю эту зиму, вдруг не стало. Все замутилось и сбилось. Чувство теперь было бурным и нетерпеливым, противоречивым и мучительным.

Весь день я терзалась нетерпением, все хотела видеть Вашинцева, а вечером, когда он приходил, мы вдруг рассоримся и разбежимся в разные углы.

Потом он подойдет, обнимет меня, я припаду к его плечу, и кажется, век бы так стояла подле него. Но если объятия

станут очень уж тесными, очень уж физическими, что ли, я вдруг вырвусь и убегу. Мы опять разберемся, и я его прогоню. Он уйдет. А я уже жалею, что прогнала его, и сижу грустная и ругаю себя ругательски. Потом побегу к телефону. Звоню к нему. Его нет — он еще не успел до дому дойти. Через четверть часа я снова звоню, потом еще. Наконец он подходит к телефону. Где он был? Ну, где он пропадал столько времени? Как где? Но он только что был у меня, только что вошел в дом, не успел даже пальто снять.

— Ну и хорошо, — говорю я торопливо. — И не раздевайся. Приходи. Ну, пожалуйста. Мне надо поговорить с тобой. Сейчас же. Слышишь? Сию минуту.

Я бросаю телефонную трубку. Я смотрю каждую минуту на часы, потом вскидываю на плечи жакетку и, застегиваясь по дороге, бегу по лестнице вниз. У ворот я хожу взад и вперед, как заводная. Меня сжигает нетерпение. Я хочу видеть его лицо и сказать ему что-то чрезвычайно важное. Что — я не знаю, но я не думаю

об этом. Все скажется само собой. Пусть только он придет... Милый... милый... Я хожу взад и вперед перед воротами. Его все нет. Я едва не плачу от нетерпения, и, когда он приходит, я смотрю на него злыми глазами.

— Ты не очень-то торопишься, — говорю я, покусывая губы, хотя легко заметить, что он запыхался от быстрой ходьбы.

— Я вижу, что мне и незачем было спешить, — говорит он обиженно.

— Ну что же. Ты можешь идти домой, если тебе неприятно здесь быть.

Он ничего не отвечает. Я говорю слишком громко. Прохожие оборачиваются.

— Зачем все это? — говорит он тихо, и голос его точно готовая сорваться струна. — Зачем все это?

Сердце у меня падает. Я чувствую, что у меня подкашиваются ноги. Я вздрагиваю от жалости к нему и опускаю руки.

— Я не знаю, что со мной, — говорю я растерянно и грустно. — Помоги мне.

Я протягиваю к нему руку. Он берет ее и быстро вскидывает голову. Шляпа падает

за его спину. Он не замечает. Глаза его теплятся, как звезды.

— Ничего, — говорит он ободряюще. — Ничего, Дашенька.

Он покрывает мою руку своей и тихонько поглаживает ее.

— У тебя свалилась шляпа, — говорю я, улыбаясь и вся согретая его глазами.

— Да?

Он поворачивается и хочет нагнуться за ней. Я предупреждаю его движение и подымаю шляпу. Мне приятно держать ее, и я, не выпуская шляпы из своих рук, иду через двор. Он идет следом за мной. Мы медленно поднимаемся по лестнице, и мне хочется, чтобы она была бесконечной.

Подобные сцены разыгрывались часто. Когда я успокаивалась и пыталась рассуждать здраво, они казались нелепыми и бессмысленными. Я страшно ругала себя, а потом все начиналось сначала. Я хотела быть иной, совсем иной и не могла. Вообще, казалось, все должно быть иначе. В самом деле — что могло мешать

нам? Чувство наше было взаимно, и оно не было легковесным увлечением. Оно было испытано временем, оно было таким, какое бывает только раз в жизни. Оба мы были людьми свободными, и жизненные начала, жизненные идеи, понимание жизни у нас не разноречили. Все приобрело счастливую ясность, и вот тогда-то, именно, вдруг начался у меня этот странный бунт против своего счастья. И это длилось больше года.

— Но почему? Почему? — спрашивал Вашинцев, мучительно доискиваясь причин моего отталкивания.

Я не знала, что ответить. Я молчала или говорила в смятении:

— Ну, подождем... Подождем еще немного.

— Хорошо, — уныло соглашался Вашинцев. — Если ты так хочешь, конечно. Но чего ты ждешь? Чего? Ты не уверена во мне? Да?

— Нет, нет. Что ты!

— В себе?

Я отрицательно мотала головой.

— Тогда в чем же дело?

— Пожалуйста. Ну, пожалуйста, — умоляла я. — Не будем об этом. Ну разве тебе плохо так со мной?

Я заглядывала ему в глаза. Они были грустны. Он не говорил больше об этом, но я видела — ему было тяжело. Так проходило недели две-три, и разговор возникал сам собой снова, хотя и на иной лад.

— Ну, постой, — говорила я. — Вот окончу институт, тогда...

— Но почему нужно ждать окончания института? Разве со мной ты станешь глупей, чем была одна, и будешь хуже учиться? Или ты думаешь, что я буду мешать тебе?

— А если я тебе буду мешать? Это будет лучше?

— Ну, об этом уж мне позволь судить.

— Почему только тебе? А я, думаешь, не могу об этом иметь суждение?

— Можешь, конечно. Но я себе не представляю, как ты... ты можешь мне помешать. Как можно вообще об этом говорить.

— Можно, — упрямылась я. — И не толь-

ко можно, но и должно. Ты большой человек, — пожалуйста, помолчи, — ты большой человек, а я студенточка. Я приду и сяду к тебе на шею, и буду болтать ногами и сосать леденцы? Так? И ты думаешь — это меня устраивает? Ты думаешь — мне нужна твоя широкая спина, надежно укрывающая от житейских бурь? Да?

— Вовсе нет. Я ничего не думаю. И я не вижу, по правде говоря, при чем здесь спина и леденцы и прочее. Ты учишься, у тебя есть дело...

— Ученье — это еще не дело. Это еще подготовка к делу. Вообще я хочу играть на равных. Понял?

Вашинцев уныло качал головой и говорил, отвернувшись и совсем тихо:

— Слишком много оговорок и оглядок. Когда любят, так много не говорят.

— Ах, оставь, пожалуйста, свои афоризмы... Любовь нема, любовь глуха, любовь слепа... Кому нужна эта инвалидная глухонемая любовь?

Вашинцев умолкал. И, конечно, не потому, что доводы мои очень уж победи-

тельны были, а потому, что, видимо, по-
дозревал, что, кроме старательно приво-
димых доводов, есть и другие, о кото-
рых я умалчиваю. И они в самом деле
были. Меня обуревал страх любви, и осо-
бенно пугала, отталкивала физическая
сторона ее. Я была как отравленная.
Душу мою сторожил рыжий хромой при-
зрак. Он поднялся из архангельских ле-
сов на пятый этаж огромного ленинград-
ского дома и бродил по углам моей ком-
наты. У меня открылись старые раны,
и тогда именно, когда, казалось, что они
давно зарубцевались. Я ужасно мучилась.
Я казнила себя за то, в чем не была ви-
новата. Я летела навстречу к моему един-
ственному, но когда он приближался ко
мне, я отшатывалась.

Вашинцев был нежен и терпелив. Он,
должно быть, все понимал. Он не спра-
шивал больше „почему“. Он ни о чем не
спрашивал. Он был внимателен и забот-
лив, как нянька. Мучительные сцены пре-
кратились. Только изредка накатывало
на меня вдруг с новой силой прежнее
раздражение, и я издевалась над терпе-

ливой заботливостью Вашинцева. „Ты недостаточно настойчив,— говорила я, зло усмехаясь.— Ты не мужчина“.

Он виновато улыбался — этот смущенный большущий человечиче. Это выбивало у меня из рук последнее оружие. Я утихала. Мы шли на улицу, на Острова. Парки и улицы были полны моих друзей и товарищей. Я шла в институт, там тоже были мои друзья и товарищи. Жизнь была пропитана озоном. У меня начинали блеснуть глаза. Подходили выпускные экзамены. Но тут вдруг сорвался Вашинцев.

— К черту! Не могу больше. Уеду на Камчатку.

Вашинцев судорожно оттягивал пальцами воротник, будто он душил его. Я стояла бледная как мел. Он убегал.

Выпускные экзамены дались мне довольно трудно. Приходилось очень много заниматься. Я не жалела горба, зато и вымоталась ужасно. Даже когда все уже было кончено, я несколько дней не могла отдышаться и привыкнуть к тому, что не надо больше заниматься, не надо

больше ездить в институт. Я не знала, куда девать себя, и даже радости особой как будто не ощущала. Только на выпускном вечере, увидев всех наших ребят вместе — принаряженных, возбужденных, радостных, шумных, — я наконец почувствовала, поняла, что кончила институт, что могу так же вот, как они, шуметь и радоваться. Это ведь часто случается, что свои собственные чувства и переживания становятся полными и понятными только тогда, когда видишь их в окружающих, когда они разделены.

Впрочем, разошлась я не сразу. Немного стесняли некоторая торжественность обстановки и сковывавшие мелочи, вроде непривычки быть у всех на виду в хорошем платье. Собственно говоря, это было вообще первое и в то же время единственное мое платье. Обычно я и в будни и в праздники ходила в блузочке и в юбке. К выпускному вечеру я решила, однако, наскрести на платье. Кое-что от стипендии урвала, кое-что заработала чертежами и купила шелку. Шелк, правда, недорогой был, но вполне приличный.

Цвет очень славный, приятный подобрался — светло-светлозеленый, вроде салатного. Фасон тоже удачный получился. Лиф гладкий, обтянутый, книзу широкий клеш. Рукав длинный, свободный, собранный у самого запястья. Вырез спереди круглый, не так большой, а сзади треугольником и довольно низкий. Поясок из того же шелка, но довольно широкий, собранный, с зеленой же пряжкой.

В общем платье славненькое получилось и к лицу. Беда вышла с ногами. Старые черные мои туфли к такому платью совершенно не подходили, да вообще плохи стали, а на новые у меня силенок нехватило. Не знаю уж, как бы я из положения вышла, если бы Соня Бах не выручила. У ее тетки оказались какие-то светлые туфли и как раз мне по ноге. Они не выглядели, конечно, новыми — подошва давно протерлась и каблуки порядочно стоптались, но верх все еще был хороший, что и требовалось доказать. Я отдала подбить новые набоечки на каблуки, что было мне по средствам, и получила таким образом на вечер „баль-

ные“ туфли. Правда, в сапожной мастерской очень удивились, что набойки подбиваются под туфли с дырявой подошвой, но где ж им было входить в наши студенческие обстоятельства.

Последний разорительный расход пришелся все на те же бедные мои ноги. Нужно было купить в тон туфель чулки. Я купила их и перекинула обед с ближайших четырех дней в неопределенное будущее. В результате всех этих жертв все устроилось прекрасно.

Последние приготовления к вечеру мы делали у Сони, и когда она увидела меня во всем параде, то так и ахнула. Даже сварливая Сонина тетушка нашла, что я „очень, оч-чень мила“, потом вспомнила со вздохом молодость, растрогавшись, сама надела на меня старинное, тонкой работы, ожерелье из дымчатых топазов и прибрала мои волосы, нахваливая их длину и шелковистость.

На самом вечере я, по правде говоря, никакого фурора не произвела и ничем особым от других не отличалась. Это, впрочем, и всегда так: собираешься куда-

нибудь на вечер или в театр — думаешь, что одета особо удачно, а придешь — и все так, как ты, да еще и лучше. Девчата наши подтянулись и, сокращая свой бюджет, приделались из последних. Парни сверкали воротничками и распускали галстуки, как павлины хвосты. Все они были мне милы — и даже те, кого я в первый раз в жизни видела. Меня познакомили с чьими-то женами, братьями, сестрами. Здесь я впервые и с Федей познакомилась. Притащил его ко мне Яша Фельдман.

— Вот она! — закричал он, пробиваясь сквозь толпу и ведя на поводу незнакомого мне тогда корреспондента. — Пожалуйста. Светлова Дарья Ганнибаловна. Круглые „весьма“. Оставляют при институте. Вообще гений.

Потом он объявил мне, что передо мной представитель шестой великой державы, и убежал, оставив меня с Федей.

Представление это порядочно меня смутило. Я никогда не имела дела с корреспондентами и не знала, как держать себя с ними. Но оказалось, что это в об-

щем не так уж трудно. Сам Федя — подвижной, черноволосый, живоглазый — сразу располагал к себе. При нем не было ни блокнота, ни вечного пера, ни очков — этих обязательных, на мой взгляд, и устрашающих примет представителя прессы.

Разговор завязался сразу и как-то сам собой.

— Ганнибаловна? — сказал Федя, смеясь. — Почему Ганнибаловна? У вас в самом деле такое отчество?

— Да нет! — отмахнулась я. — Это так просто. Никаких Ганнибалов у нас в роду вовсе не бывало. А отца моего попросту Степаном звали.

— Откуда же взялся Ганнибал?

Я рассказала о ганнибаловой клятве, которой, случилось, немногие знавшие о ней меня поддразнивали.

— Пятьдесят строк, — сказал Федя, с интересом выслушав историю. — Пятьдесят строк. Придется потрясти вас еще на полтора. Вы танцуете? Мороженое потребляете?

Танцовать я тогда не танцевала, но

мороженое любила. Мы ели мороженое. Потом в парке институтском шатались. Вообще интервью затянулось до полуночи, и в конце его мы едва не сцепились врукопашную. Спор шел о книгах, о героях, точнее о героинях, а еще точнее об отсутствии их в нашей литературе. Федя, между прочим, странно спорил. Он то нападал на меня, то вдруг принимал мою сторону и вместе со мной возражал невидимому третьему. Потом оказывалось, что этот третий и есть я или даже он сам. Казалось, и спорил-то он не из-за того, чтобы свое мнение обязательно утвердить, а просто чтобы поискать что-то вокруг себя. Это очень сбивало меня, и только много позже я догадалась, что Федя со мной хитрил и нарочно путал, чтобы подглядеть меня и с той и с этой стороны для своего газетного портрета.

— Ну, хорошо,— говорил он, прищурясь и двигая широкими бровями.— Предположим, что мы правы. Это тем более приятно, что за нас традиция. Во все времена современники ругали свою лите-

ратуру, утверждая, что она хуже прежней. Не будем же нарушать установившиеся традиции — всыпем и литературе и литераторам.

— Но вы сами литератор, — вставила я с невинным видом.

— Я? Нет, нет, — запротестовал Федя. — Я неотесанный газетчик. Я чернорабочий. В то время как на Олимпе упиваются нектаром цветистых метафор, я отковываю в дыму и копоти грубые факты. Аллах с ними, с этими олимпийцами. Я не хочу делить с ними ни их бессмертия, ни их скуки.

— Ох, — вздохнула я. — Это, кажется, что-то страшно умное и, кстати, совсем не то, о чем вы только что говорили. Вы собирались что-то предположить?

— Да-да, — спохватился Федя. — Так вот, предположим, как уже сказано было выше, что мы правы, что романы наши пресны и блонравны, как старые девы из глухой английской провинции; что героини — или нет, или она застегнута наглухо в мужского покроя прозодежду, что она бесцветна и передоверила все

свои чувства многотиражке своего предприятия; что она не знает, что такое страсть — эта бестрепетная героиня; она не страдает, не делает ошибок, даже... даже не хворает, чорт ее побери. Ее сердце и желудок работают, как часовой механизм, как турбина, и читатель, проведя с нею час, начинает неудержимо зевать от избытка ее добродетелей. Все это так. Все это справедливо или почти справедливо. Но!..

Федя нравоучительно поднял указательный палец и приостановился.

— Но? — повторила я нетерпеливо. — И речи и остановки ваши очень длинные. Но?..

Федя скосил на меня смеющийся лукавый глаз и опустил палец.

— Но... мы знаем, что в литературу обычно попадает так называемый общественный тип, то есть тот тип человека...

— Что, что? — перебила я. — Тот тип, тот тип... Сами вы тип. Выходит, по-вашему, что героиня и пресна и вообще такова потому, что общественный, как

вы говорите, тип женщины таков? Что таковы они в жизни? Да?

— А если?..

— Чепуха! — почти закричала я. — Вы плутуете. И вы просто не знаете женщин, ничего не знаете. И вы... И вы, писатели... вы сами старые девы, вот что...

Дальше подзадоривавший меня Федя не выдержал. Он раскатисто засмеялся, замахал руками.

— Так их, так их, душа моя! Откайте их как следует и пишите о себе сами. Мир устал смотреть на все с мужской точки зрения. Нет, честное слово. Это же идея. У вас есть что сказать. Скажите же ваше слово сами, не доверяя его третьему лицу. Расскажите просто, без утайки, о ваших чувствах, о ваших мыслях, о всей вашей жизни. Нет, серьезно, вы должны это сделать.

— Но я не умею писать, — сказала я жалобно, испуганная энергичным натиском Феде. — Я не умею писать. Понимаете?

— И прекрасно. И прекрасно! — вскричал Федя, явно уже закусивший удила. — Уменье писать — это в конце концов уменье преобразовать, то есть чаще всего уменье цветисто лгать. Вы застрахованы от этого. Вы будете писать самую жизнь.

— Но у меня самая обыкновенная жизнь.

— Великолепно! Нет ничего необыкновенней, чем самая обыкновенная жизнь. Вперед, мой друг, вперед! Распустим профсоюз олимпийцев, упраздним группком работников Парнаса и будем сами ведать нашими душами. Нет, в самом деле.

— Вы шутите.

— Нет, я не шучу. Но...

— Опять „но“, — засмеялась я.

— Опять, и на этот раз угрожающее. Потому что, если вы вздумаете рассказывать о себе, извиваясь и прихорашиваясь; если вы, подобрав юбку, будете старательно обходить все зыбкие места; если вы не решитесь обо всем сущем говорить грубо и правдиво, если...

— Ух, — прервала я, едва переводя ды-

хание.— Если, если, если... Как много „если“... И вообще — с чего вы взяли, что я буду писать о себе?

— Будете, — сказал Федя, угрожающе сверкнув глазами. В голосе его звучала твердая уверенность. Он уже, видимо, не только категорически решил, что я должна писать о себе, но был убежден, что, если я этого не сделаю, произойдет что-то вроде землетрясения.

Он всегда был таким, да и теперь таким же остался. Он решает чужую судьбу, как свою, и сейчас же приносит на новый алтарь маленькие жертвы. Неожиданно уверовав в необходимость моего пространного жизнеописания, он тут же решил, что теперь ему самому совершенно не к чему забивать меня в „двести прокрустовых строк“. Но это значило, что для завтрашнего номера газеты нужны двести других заменительных строк, и Федя ринулся на поиски нового материала.

Так впервые мы с ним свиделись, так впервые расстались. Было это очень-очень давно, но мне кажется, что было

это, вот вчера — так все живо и ясно в памяти, ясней даже, чем более поздние встречи, бывшие до того, как Федя, года четыре назад, поселился у нас в маленькой угловой комнате.

Возвращались мы с вечера большой компанией. Шел третий час ночи, но было почти так же светло, как днем. В то же время все было иначе, чем днем, и не потому, что в дневные часы улицы людны и в движении, а сейчас были пустыми. Нет, дело было не в этом и не в том, что все окружающие предметы — дома, пролеты ворот, столбы, — не загороженные дневной сутолокой, просматривались лучше, свободней, а в том, что сами эти предметы другими стали. Все они виделись не только сущими, что ли, но и как бы в замысле, в чертеже. Прежде массы здания выступали четкие линии его чертежа. Угол дома прочерчивался твердо, точно хрустальная грань. Наперерез стремилась линия карниза, до того острая, что, глядя на нее, хотелось вскрикнуть, как от боли. Удивительным было и то,

что каждая линия, оставаясь беспощадно резкой, была окружена каким-то свечением, обведена какой-то прозрачной белизной. Впрочем, свечение это окружало не только линии, но разлито было в воздухе, то есть воздух-то и был этим свечением. Делалось чудо. Воздух, всегда невидимый, становился вдруг видимым. Он обтекал, окутывал все предметы и немного мерцал, пожалуй. И, может быть, оттого все вокруг становилось призрачным; и душе как-то беспокойно становилось; и тело в этом мерцающем свечении двигалось немножко причудливо; и глаза блестели таинственно — и вдруг читалось в них то, что никогда в другое время не прочел бы.

Наши-то белые ночи — архангельские — еще, конечно, лучше, просторней ленинградских. В тесном городе они немного мучительны всегда, немного раздражают, взвинчивают. Да и неба в городе белой ночью вовсе нет. А какое небо, какое небо в эти ночи бывает на море или в лугах — легкое, легкое, в потайном каком-то сиянии, с маленьким седым сол-

нышком у горизонта! В общем рассказать всего этого нельзя, понятно, да, по правде говоря, я тогда ничего такого и не думала. Я шла и шла по широким и тихим улицам, и казалось, не будет им никогда ни конца, ни краю.

Выпускники наши сперва шумели, выплескивая остатки веселого возбуждения, скопленного на вечере, потом понемногу утихли.

Путь был из Лесного к Нарвским воротам дальний, и мало-помалу то один, то другой оставлял нашу компанию, сворачивая к своему дому. Наконец мы остались с Соней Бах одни и все шли и шли по пустынным белым улицам, по горбатым мостам, по прямым, как стрелка, набережным, мимо грузных молчаливых дворцов, под арками которых отдавалось эхо наших медленных шагов.

— Вот так и в жизни, — сказала Соня с грустью. — Вышли все вместе, а потом, потом один отстанет, другой свернет к себе...

Она умолкла, насупилась, вдруг прижала мой локоть к своей груди, заглянула в глаза.

— А ты? Неужели и ты? Слушай, Дашка...

Я не отвечала. Мы шли молча. Потом я остановилась. Мы были у подъезда узкого трехэтажного дома. Я подняла глаза к верхнему этажу. Крайнее слева окно было распахнуто настежь. Отдернутые в сторону занавески колебались — ветра совершенно не было.

— Да, — сказала я, лязгнув в неожиданной дрожи зубами. — И я. Вот сейчас...

Я освободила свой локоть. Мы смотрели друг на друга. Я тронула рукой волосы — шляпы на мне не было. Потом пошла к подъезду. Соня кинулась ко мне, обняла. Мы постояли так, обнявшись. Потом поцеловались.

— Я знала, что так будет, — сказала Соня у моего уха.

Я оторвалась от нее и, не оглядываясь, побежала вверх по незнакомой лестнице.

Сколько времени нужно потратить на то, чтобы подняться в третий этаж? Минуту? Две? Не знаю. У меня целая жизнь прошла, пока я подымалась.

Детство промчалось на первых двух маршах, но очень смутно, смазанно. Промелькнули, как в тумане, резкое красивое лицо матери, вихрастый удалец Горька, тихо покашливающий отец, заросший крапивой двор, ржаное поле — неровное, бугристое.

Я раздираю ноги о колкую, жесткую, как проволока, стерню сжатого поля. Нестерпимо ломит поясницу. Тетя Настя шевелит бурыми, изношенными в труде руками. Скрипит надрывно гармошка. Высится, как плаха, широкая сосновая кровать. Пьяно усмехается рыжий хромой палач. На столе стоит маленький гроб.

Я иду по воду, и навстречу мне по прямой деревенской улице, гремя оружием, скачет во весь опор Сашка. Ведра опрокидываются. Я перешагиваю через них, прохожу мимо.

Над черными елями голубеют крупинки звезд. Ни звука, ни шороха под низкими лохматыми ветвями. Бесшумно, след в след, идут глухим бором партизаны. Я припадаю к пулемету, поглаживаю его,

как пригретого у пазухи кота. Пули взмывают маленькие столбики снега.

Снег лежит по углам закоптелого фабричного корпуса. Ветер ходит по цеху, гремит железом. На искалеченном валу каландра густая, как кровь, ржавчина. Разве могут ожить эти мертвецы? Они оживают. В фабкоме, в цехах мелькают красный головной платок и мужского покроя кожанка.

Вашинцев говорит: „Плохо. Плохой доклад“, — и улыбается. Зубы у него крупные-крупные. Весь он крупный, широкий. Я пожимаю плечами и прохожу мимо. Фешин — маленький, грустный — смотрит на меня черными, как ночь, глазами и говорит тихо: „Цветы на фабричном дворе, цветы в цехах. А? Как это тебе нравится?“ Я прохожу мимо. Меня нагоняет активист Сергачев, и мы недолго идем рядом. Белые стены больницы, первые мучительные раздумья, Тартарен, левкой, Вашинцев. Зачем, зачем он не остался тогда! Я возвращаюсь в фабком. Я мчусь в Петроград. Там даю я свою ганнибалову клятву.

Трамвайная площадка вздрагивает под ногами. Тонко поют стекла. Я еду в институт. Приходит Соня Бах. Приходит Вашинцев. Я сдаю теоретическую электротехнику, это трудно. И черчение тоже. Тушь смешивается со слезами.

Вашинцев сказал: „Я счастлив“, — и он мучился, очень мучился... Я бежала любви. Почему? Мы проходили как-то мимо его дома. Он сказал: „Вот мое окно. Крайнее слева. Видишь...“ Я спросила: „Ты придешь на наш выпускной вечер?“ Он ответил: „Нет, я нынче очень поздно работаю“. Но я все равно была с ним весь вечер, даже тогда, когда с Федей спорила. И по улице шла этой ночью с ним. И когда увидела этот узкий дом и подняла глаза к окну, крайнему слева, — все уже было решено.

Я подымала к нему целую жизнь — все тревоги, все сомнения, все нажитые мысли. Я несла к нему свои надежды, свою ганибалову клятву, весть о том, что меня оставляют при институте, что мне поручают первую научную работу. Я подымалась все выше — от прошлого к буду-

щему — и на самом разбеге стала у его дверей.

Он сам открыл их. Он жил один — я знала.

Я сказала:

— Вот я и пришла.

Он отступил. Я захлопнула за собой дверь. Он вдруг схватил меня в охапку. Я молча взлетела на воздух и увидела его лицо возле самого своего лица.

— Но здесь же лучше, чем на Камчатке, здесь, у нас, — сказала я, подымая руки к его шее.

— У нас...

Он засмеялся. Веки его дрогнули...

— У нас...

Он опустил меня бережно на пол. Оглядел. Сказал, совсем растерянный:

— Вот ты и пришла.

Утром Вашинцев ушел в трест, пообещав освободиться и прибежать назад как можно скорей. Я осталась одна и долго расхаживала по квартире. Я переживала странное чувство новизны всего сущего. Не только квартира — окружающие пред-

меты были для меня новы. Весь мир был только что рожден...

Я подходила к окну и смотрела на окутанный дымкой город, — он был иной, чем вчера, он был новый.

Я останавливалась посередине комнаты и вытягивала вверх руки. Все тело следовало за этим легким движением. Каждая утаенная клеточка разминалась, оживлялась, вздрагивала, наслаждалась возможностью двигаться, вздрагивать — тело было иным, чем всегда, новым, никогда не знавшим такой вот телесной оживленности, телесной радости.

Я глядела на висящую передо мной картину. Это были репинские „Бурлаки“. Я видела ее много раз, но только сейчас разглядела двойственность выражения этих бурых лиц — внешней тяжелой застылости и внутреннего движения, готового прорваться сквозь эту застылость. Так видела я эту картину, эти лица — впервые. У меня были новые глаза, новая душа.

У меня был новый мир, и все в нем было необыкновенно оживленно и в то же

время все было удивительно покойно, полно. Это ощущение полноты, покоя... — его не любят почему-то люди, о нем не поют песен. Все песни посвящены человеческому горю, человеческому страданию. Никто еще в этом мире не приобрел славы описанием человеческого счастья, и тысячи ее приобрели, описывая страдания. Эта инерция и сейчас действует у нас, когда уже и вовсе нет под ней жизненных основ, и это всего непонятней. Человек близорук к счастью. И почему-то считают его чем-то крайне простым, даже плоским. А счастье-то, оно сложнее страдания, тоньше, выше, богаче оттенками.

Помню, что я бродила по уходе Вашингцева часа три в состоянии блаженной обновленности, очищенности. Почему именно тогда пришло мне в голову сесть за эти записки? Потому ли, что я стояла на пороге нового большого этапа жизненного и мне захотелось с гребня, на который я вскарабкалась, оглянуться на пройденное? Или потому, что еще свежи были мысли, возбужденные вчерашним спором с Федей и настояниями его на-

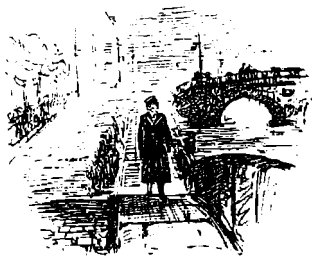
чать писать о себе? Или потому, что впереди были почти два месяца летнего безделья и я уцепилась за первую возможность его заполнить? А может быть началось все просто потому, что на столе мужа я нашла в то утро целую стопку чистых тетрадей?

Так или иначе, но, устав бродить по квартире, я села за стол и обмакнула перо в чернила. И сию же минуту слова побежали сами собой, без всяких усилий, будто только и ждали того, чтобы я села за стол.

Потом у меня часто бывали в записях большие перерывы — по году и даже больше — но первое время я писала запоем и с большим азартом. Что получилось в результате этих азартных записей — об этом уж не мне судить...

Хотела приписать еще что-то, и довольно существенное, да Маришка все сбила. Ворвалась, как вихрь, и прямо в колени ткнулась мордочкой. Хохочет, заливаясь так, что коленям щекотно. А на пороге уже Шурка, а за ним сам папаша Вашингев. Вид у обоих сугубо таинственный и серьезный, хотя Шурка,

вижу, едва сдерживается, чтобы не прыснуть. По физиономиям их ясно, что готовится какой-то заговор против моей личности и что записям моим сегодня конец. Ну что ж, значит судьба кончиться им здесь. Пусть так и будет.



*Ответств. редактор В. Вор
ченко. М 53958. СП—23/Л. Ти-
раж 10 000. Подписано к печати
29 IV 1941 г. Печ. л. 8. Уч.-
изд. л. 6,42. Типография № 2
Управления издательств и по-
лиграфии Исполкома Ленгос-
совета. Ленинград, Социали-
стическая, 14. Заказ № 211*

Ленинградское отделение издательства „Советский Писатель“ просит читателей дать отзыв как о содержании, так и об оформлении книги, указав свой точный адрес.

Библиотечных работников издательство просит организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов.

Все материалы направлять по адресу: Ленинград, внутри Гостиною Двора, 122.

2 р. 75 к.